ДИЛАН ТОМАС

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

1934-1953



Salamandra P.V.V.



Salamandra P.V.V.

Дилан Томас

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

1934-1953

Перевод Василия Бетаки
Послесловие и комментарии Елены Кассель

Salamandra P.V.V.

Томас Д.

Собрание стихотворений 1934-1953. Пер. с англ. В. Бетаки. Послесл. и комм. Е. Кассель. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2010. – 258 с., илл. – PDF.

Первый полный перевод на русский язык канонического собрания стихотворений одного из величайших английских поэтов XX в. Дилана Томаса (1914-1953), отобранного самим Томасом в качестве поэтического наследия.

Томас прожил истинно богемную жизнь: он попрошайничал у друзей и оскорблял их, не держал слова и не стеснялся воровства, любил сразу нескольких женщин и только свою жену, не желал работать и сорил деньгами, а о его подвигах в пабах и скандальных выходках до сих пор ходят легенды.

Но в поэтическом труде он был взыскательным мастером, построившим величественную и яростную поэтическую систему, в которой прихотливые, часто загадочные ассоциации и техническая виртуозность сочетаются с философскими размышлениями на вечные темы рождения и смерти, любви и поэтического дара.

Переводы известного поэта и переводчика Василия Бетаки снабжены подробными комментариями Е. Кассель и ее статьей о жизни и творчестве Дилана Томаса.



1. ПРОЛОГ

Это – день, подгоняемый Богом к осенним дням;
Лосось его солнца смертельно устал как этот,
Сотрясаемый морем, дом на крутой зубастой скале...
День перемешан со щебетом птиц, плавниками, плодами, свирелью,
С ритмом танцующих в лесу копыт великого Пана,
С морскими звездами, с пеной на сером песке,
С чайками, ворчливыми, как бабы-рыботорговки,
С волынщиками и парусами – мачты царапают облачный слой –
Силуэты людей опускаются на колени
У рыбацких сетей на закате, где гуси почти долетают до рая,
Где мальчишки и цапли рыбачат, и ракушки шепчут о семи морях.
Вечные воды отрезали этот мир от городов девятидневной
Ночи... Башни-клювы, нанизывают, протыкая
Божественный ветер строк.
Незнакомцы, в нищем мире! Для вас, для вас
Я пою: и пусть мои стихи своей волей
На узком горном хребте зажигают
Звук этой песни – в птичьих мерцающих огоньках,
(Хотя и выглядят так, будто они – только надпись кривая эта
На одном из деревьев в лесу мировом!)
Из этих листков, которыми море играло,
Которые с меня скоро осыплются, и улетят,
Как с деревьев, которые вокруг растут, –
Да, как листья деревьев засохнут они вот-вот,
Чтобы, не помирая, жить по вампирски: непременно, бессменно
В ночах, и в книгах, затрепанных до того,
Что углы всех страниц как свиные уши взлохмачены, –
Стихи мои – лососи, до синевы обессиленные в морях,
Тянутся к сумеркам залива моего,
Пока я этот хаос образов вырубаю упрямо
Для вас, дабы все вы знали, что я,
Человек свою вечную пряжу прядущий,
Славлю, как менестрель, и звезду вот эту,
Птицами закриканную, морем рожденную,
Проткнутую насквозь человеком, и
Кровью жизни благословленную.
Слушайте:
я восславляю гулкой трубой
Весь этот край, весь от рыб до холмов,
На горизонте играющих в чехарду,

Смотрите!
  Потоп начинается!
И я строю ковчег мой, ревущий,
Ковчег мычащий, лающий… Строю
Всей силой неоглядной любви
(Фонтанами извергаются страх и ярость,
Алая ярость жизней и судеб,
Людских!) Я строю ковчег мой корявый –
Этот лес из стихов – чтобы он устремился
Над спящими белыми и пустыми
Израненными фермами-кораблями
В Уэллс, лежащий – в объятьях моих!

Там, в гулких замках, в залах пустых
Светятся совы лунными королями,
Хлопают крылья во тьме, а под ними
Мохнатый комочек убитый, свалился…
Уу - ууу! На холмах моих многоглавых
Изрытые рудники ветер остудит,
И встрепанная голубка уже раскричалась
В ухающей тьме, где ни зги не ви…
Вместе с грачом преподобным, порою!
Куууу! – молитву лесам вездесущим
Возносит птица – и прорываются
Лунно-синие ноты от гнезда к гнезду
Падая к стайкам кроншнепов и куличков!
Хооо! – шумные кланы с тоской
Разинутых клювов – толпа удивленная
На крючконосых мысах над реками!
Хэ-ээ-эй! По холму заяц мчит ослеплённо, и
Слышит сквозное мерцание света
С моего ковчега, над потопом идущего,
Видит металлический звон, когда я
Из грома наковальни, из скрипки, из шума и гама
Выковываю мелодию ковчега своего,
Мелодию гриба дождевика
                                                (он, пожалуй, тоже свое слово сказать сможет!)
Животные – все вместе на божьих шершавых лугах
(Привет и почтение Его Зверячеству):
Звери спят крепко и чутко в лесах Его!
Тише вы, в кабаньих щетинистых рощах, вы, кто на стогах сена
На крышах пустых ферм толпится, кудахчет над шумом вод,
Когда крыши амбаров петушиную войну ведут.
Царство соседей: кто с плавниками, кто в шкурах, и кто пернат –
Сверкают все на ковчеге, лунносветном, как лоскутное одеяло!
И пьет Ной: залив мой – этот Ной – с чешуей,

С перьями, шкурой или руном…
И только колокола, затонувшие где-то,
Овечьи колокольчики, и блеяние в шумных церквях
Перед закатом солнечный свет разливают,
И тьма накрывает любое святое поле.
Мы поскачем одни в этот час
Под звездами Уэльса сразу по сотням дорог,
Крича: смотри: сотни словоковчегов, пролетая
Над землями, накрытыми водой гневной,
Поют под солнцем в несущихся облаках:
«Том – это синица, а Дил – это мышка такая…»
И на каждом ковчеге из одних любовей состоит населенье.
На носу моего корабля, плывущего над землей –
Ого-го! Старый морской волк: враскачку, движенья неловки.
В воздухе синем ковчеги строк тянутся налегке,
Угу-гууу! На носу моего корабля неустанно –
Голубка со взятой у Пана свирелью,
А ковчег мой поет на солнце, стремясь в облаках к земле,
К подгоняемому Богом концу лета
И расцветает там.

ΔΔΔ

ВОСЕМНАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

(1934)

2. Я ВИЖУ ЛЕТНИХ МАЛЬЧИКОВ…

1.
Я вижу летних мальчиков паденье:
Они оставят землю без плодов
И, золотую почву заморозив,
Из мерзлоты любовей извлекут
Себе девчонок, чтоб струей белесой
Забрызгать кучи переспелых яблок
В тепле глубинном зимнего теченья…

Да, мальчики, что сотканы из света
Застыли в том безумии, когда
Кипящий мед, и тот почти скисает!
Морозные их пальцы шарят в ульях,
Они тьмой и сомненьем кормят нервы.
Сигнальная луна – ноль в их пустотах –
На солнце нить сомненья застывает.

Я вижу, как в глубинах матерей
Руками распирают животы
Они. И ночи отделив от дней,
Там, пальцами расчетверяя тени
Луны и солнца, словно изнутри
Расписывают матки как пещеры,
И солнца нимб над ними все светлей…

Я вижу, как из них, потомков лета,
Какие-то мужчины вырастают
И, разрывая воздух, вылетают
Из той жары под пульс под ритм сердец.
Смотри, как бьется лето – пульс во льду!
У каждого из них свой личный праздник
Взорвется в горле для Любви и Света!

2.
Все времена просчитанного года
Наш вызов примут, или прочь уйдут
В звенящее неведомое нечто,
Где мы, звоня в одни и те же звезды,
Дотошны, словно смерть в ночи времен,
И языки колоколов черны.
Так сонный зимний человек звонит,
Но звон не сдует ни луну, ни ночь .

Мы отрицатели, шлём смерти вызов
От летней бабы, мускулистой жизни,
От судорог любовников в тот миг,
От тех прекрасных и еще не живших,
Тех слепо плавающих в море лона,
Засветим огонек шахтерской лампы:
Хоть чучело оттуда бы извлечь!

Мы летние, мы в вихрях всех ветров,
Зеленые мы, в водорослях зеленых,
Усилив шум морской, роняем птиц
И гоним, гоним вспененные волны
Приливами пустыню задушить,
Листву садов готовим для венков
И выше вскидываем мяч Вселенной.

Весной мы освящаем лбы омелой.
Восславим кровь и ягоды, прибьем
К деревьям развеселых джентльменов!
Здесь мышцы влагу от любви теряют,
Так преломи, как поцелуй, тот хлеб
Ничьей любви! И разгляди полярность
Всех детских обещаний непременно.

3.
Я вижу летних мальчиков паденье.
В личинке человека – пустота,
А эти мальчики все наполняют,
Я – некто вроде вашего отца.
Вы созданы из кремня и смолы
И, разглядев путей пересеченье,
Сплетаются, целуясь, полюса.

3. КОГДА ЗАСОВЫ ОТВОРИЛИСЬ

Когда засовы отворились,
И пальцы вдруг рассвободились,
Сорвали сумерек замки,
А губы засосали время,
Сглотнув сгущавшуюся темень
И море вкруг моей руки –

Вселенских океанов толща
Исчезла, и открылось тут же
Иссохшее морское дно,
Отправил я свое созданье
Обследовать мой шар с вихрами,
Пришитый нервами к душе.

И, сердце зарядив творенью,
Его согрели батареи,
Чтоб к свету путь ему открыть,
И звезды, обретая форму,
Отцовской магии остатки
В сне успели утопить.

Вот этот сон: могил доспехи,
И краб живой рыжеголовый,
И бельма саванов, и прах,
И мертвецы давно небритые,
И мухи над мешками крови,
И руны смерти на камнях

Заучены на память снами,
Что плавают над временами.
Саргассы замерших могил
Всех мертвецов, восставших к сроку,
К работе и к времен потоку,
Вернут, как Тот бы возвратил,

Кто сны над койками катает,
Тень и зародыш окормляет,
Так люди рыбок кормят, чтоб
Через цветы и зелень тени,
Презрев толпу пустых видений,
Смотрели словно в перископ.

Повешенный встает из ямы
С известкой. И жужжит упрямо
Пропеллеров прозрачный рой,
И кипарисовые люди
От пенья петуха иссохнут,
А сны глядящий под луной

Глупцам не зря стреляет в спину,
Тем, кто просторы сна покинул,
И лунных сосунков творит,
Когда засовы повернутся,
И сумерки в клубки свернутся!
И с материнским молоком,

Что гуще, чем песка сгущенье,
Отправил к свету я творенье,
Но был он кем-то усыплен,
Имел, как видно, кто-то виды
Украсть души моей флюиды,
Но остов формы сотворен!

Не спи, не спи, мой спящий кто-то,
В рассветном городе работай
Пусть свет зашторенный темней,
Но самый быстрый всадник все же
Сквозь сумрак штор прорваться сможет,
Миры развесив меж ветвей.

ΔΔΔ

4. ПРОЦЕСС РАСКРУЧИВАНЬЯ НЕПОГОДЫ

Процесс раскручиванья непогоды
В глубинах сердца так суров:
Раскручиванье непогоды в венах
Всю влажность иссушает разом.
Ночь превратится в день, а червяков
Сожгут бесчисленные солнца крови.

Процесс, в глазу начавшийся, пророчит
Окостененье, слепоту. Из лона
Исходит смерть, по мере выхожденья
Оттуда жизни…

Тьма в непогоду глаз – неотделима
От света их. Так монотонно море
С упорством бьется о сухие скалы,
А семя, из которого растет
Лес лона, по вине безветрий сонных
Иссохло и пропало…

А непогода в мышцах и костях
То вдруг дождливая, то вновь сухая,
Невольно будит мысль о мертвецах,
О призраках, что мечутся, мелькая
Перед глазами…

Непогода в мире
Столкнет к лицу лицом
Фантомы. И малыш, которого любили,
В их тень двойную погружен. Луну
Вдувает в солнце непогодой черной,
Задергивающей наши шторы – поры,
И сердце возвращает наших мертвых…

5. ПОКА НЕ ПОСТУЧАЛСЯ В ПЛОТЬ Я

Пока не постучался в плоть я,
Был я аморфен, как вода,
Та, что у моего порога
Сформировала Иордан.
Руками жидкости в утробу
Я занесён на тот причал –
Таинственный племянник Мнеты,
Сестры Отца, конец начал

Всех... – Был я глух к весне и лету,
Не знал ни солнца, ни луны.
Ни их имен: ведь я был – «это»:
Как след расплывшейся волны,
Как молоток дождя, которым
Отец взмахнул, скопленьем звезд
Свинцовых, собственным мотором
Туда заброшенным, пророс.

Я знал, что весть зимы бывает
Весельем, кинутым снежком,
А ветер, что во мне взвывает,
Он был влюблен в мою сестру,
Росою адской брызнул ветер,
Гоня по венам Рождество:
Еще не зачат я – но понял,
Что день от ночи отличим.

Еще не зачатый, на дыбе
Снов, знал я: лилии моих
Костей раскрылись и могли бы
Овеществить сложнейший шифр
Живого. Смертность платит плотью
За переход черты, где – Крест,

Костер, и печень Прометея,
И, как колючий хаос звезд –

Терновые переплетенья
В монады скрученных мозгов
Познали Вод и Слов смешенье,
И как бежит по венам кровь.
И жажду ощутило горло,

И сердце знало: есть любовь,
И голод брюха есть, и голод
Еще не высказанных слов,
Пока все не сгниет,
То было
Предмыслью о грядущей тьме:
Ведь смерть так явственно сквозила
В ошибках, в памяти, в дерьме,

А время подгоняло плетью
Всю сущность смертную, всю дурь:
Тонуть ли в море, жить ли, плыть ли
С толпой соленых авантюр?
В приливах, берега лишенных,
Я был богат, я богател,
И днями вин неразведенных
Весь устремлялся за предел!

Я сын людской, сын духа тоже,
Но так не стал аж до конца
Ни тем, ни тем: как плеть по коже
Меня хлестнула смерть отца.
Я смертен как порог молчанья:
Не зря холодные уста
Несли отцу в конце дыханья
Весть смерти от его Христа!
И ты, пред алтарем склоненный,
Ты пожалей в молитве тех,
Кто дух, чудесно воплощенный,
В плоть одевает, как в доспех,
И сколько раз опять – безмерно! –
Ее утробу предал Он
Тем, что от сущности бессмертной
Обычный смертный был рожден…

6. ТА СИЛА, ЧТО ЦВЕТЫ СКОЗЬ ЗЕЛЕНЬ ПОДОЖЖЕТ

Та сила, что цветы сквозь зелень подожжет,
Творит и зелень юности моей.
Она и корни всех деревьев оборвет,
Да и меня разрушить норовит.
Ну, как я розе, согнутой ветрами,
Скажу, что та же лихорадка ветра
И мне сгибает юность? –
Ведь немота моя не разрешит!

Та сила, что сквозь скалы воду гонит,
Она же гонит красный мой поток,
Она ручьи живые иссушает, –
И речки вен как воск застынут, дайте срок!
Но как мой голос венам сообщит,
Что горные ручьи все тот же рот
Сосет?... Ведь немота не разрешит!

Рука, творящая в пруду водоворот,
Пески размешивающая в пустынях,
Она же крепко держит против ветра
Мой саван, парус мой, – и мачта не дрожит.
Но как могу я палачу сказать,
Что и его скелет из моего же праха
Сформован?... Немота не разрешит!

А губы времени присасываются к фонтану.
И скапливается в лужицах любовь.
Сочится кровь, затягивает раны
Любви... Но как я шторму расскажу,
Что стрелки времени уже промчались
По циферблату звезд?... Ведь немота...

И я не в силах рассказать могиле
Влюбленного,
Что жадные, кишащие в ней черви,
Мой саван тоже обгрызают...

7. И ВОТ ОН НЕРВЫ НАПРЯГАЕТ

…И вот он нервы напрягает дико
Вдоль всей руки,
Чувствительной от кисти до плеча,
Высовывая голову, как призрак,
Сам опирается на крепкий столб-владыку,
Чей гордый поворот несет презренье…

Но нервы бедные подвластны голове,
И на бумаге, мучимой любовью,
Болят. Целую писаное слово
За непослушность, за тоску любви:
В нем отразился весь любовный голод,
Передающий боль пустой странице.

Он открывает бок. Он видит сердце
И, как по пляжу голая Венера,
Он движется вдоль плоти, развевая
Волос кроваво-рыжую копну.
Обещанного нет! Зато недаром
Невнятный, тайный жар мне уделен,

Он держит выключатель нервных токов,
Чтоб восхвалять грехи рождений и смертей,
И двух разбойников распятых. И жестоко
Царь голода меж них поникнет. Вот тогда –
Он спустит воду и погасит свет…

ΔΔΔ

8. И ТАМ, ГДЕ ЛИК ТВОЙ БЫЛ ВОДОЙ

И там, где Лик Твой был водой,
Там веет лишь Твой дух сухой,
И не подымет взгляда
Тот, кто еще и не рожден,
Но житель водяной –тритон –

Сквозь соль земли, икру и корни
Проберется...

Там, где когда-то в зелень ив
Зеленые узлы воды
Волной накатывал прилив –
Зеленый акушер жестоко

Клал наземь влажные плоды,
Пути отрезав от истока.

В свой час невидимый прибой
Все водоросли любви волной
Окатывал, но влага исчезала,
Враждебно веял суховей,
Но с берега толпа детей, –
(Не тени ли твоих камней?) –
Всевластным криком призывала
Дельфинов из живых морей.

Твои ресницы, фараон, –
И не волшебство, и не сон
Их не сомкнут,
Пока магическая сила есть – начать с начала!
Прилив опять пригонит змей,
Твоя родильная постель
Создаст коралловую мель,
И снова расцветут кораллы,
Пока еще мы верим ей,
Творящей мощи всех морей!

9. ДА, ЕСЛИ Б ЭТО ТРЕНИЕ ЛЮБВИ

Да, если б это трение любви
Девчонка выкрала со мною вместе
Из клетки тех запретов подростковых,
Порвалась бы резинка связи с детством,
И если бы та красная струя,
Что льется из телящейся коровы,
Царапала бы бронхи легким смехом,
Тогда я не боялся б ни потопа,
Ни яблока, ни бунта мутной крови.

Пусть клетки скажут, кто мужик, кто баба.
Уронят сливу, словно пламя плоти,
И если волосы бы прорастали,
Как крылышки гермесовых сандалий,
И эти бедра, детские пока,
Чесались бы... ну, как у мужика.
Я не боялся бы ни топора,
Ни виселицы, ни креста войны.

Пусть пальцы скажут, кто я есть, рисуя
На стенке девочек и мужиков,
И я не убоюсь движений силы
Туда-сюда... И голодом подростка
Жар обнаженных нервов тренируя,
Не убоюсь чертей, зудящих в ляжках,
И той, рождающей людей, могилы.

Да, если б это трение любви,
Которое ничьих морщин не тронет,
Но и омолодить не сможет тоже,
Меня бы щекотало... Если б старость
Хранила мужество творить всегда,
Не убоялся б я походки крабьей,
И пены моря: пусть у ног любимых
Прибои мертвые рождают брызги,
И время охладится как вода!

Мир этот полу-дьявол, полу-я,
Наркотиком, дымящимся в девчонке,
Обкрутится вокруг ее бутона
И наконец-то выплеснет желанье,
Пока ж – сижу бессильно-стариковский,

И все селедки моря пахнут бабой,
А я сижу, смотрю на эти пальцы,
Куда-то уносящие дыханье…

Так это тренье, что меня щекочет, –
Игрушка обезьяны между ляжек?
Младенчество людского рода? Или
Предвестье мокрой и любовной тьмы?
И пусть грудь матери или любимой
Прекрасна, пусть мы в этом утопили
Свои шесть футов трущегося праха –
Но легкость смеха не постигнем мы.

Что это трение? Перышко по нервам?
Смерть по бумаге? Жаждущие губы?
Христос рождается уже в терновом
Венке под древом жизни? Смерть иссохнет,
Но шрифт – стигматы слов моих – начертан
Пером твоих волос Дождусь же дня,
И станет тренье взрослости и слова
В конце концов метафорой меня!

ΔΔΔ

10. НАШИ ЕВНУХОВЫ СНЫ

1.
Бесплодны евнуховы наши сны в свете любви:
Сны по ногам мальчишек лупят:
Им простыни, как скрученные шарфы,
Ногами девичьими кажутся. Мальчишка хочет
То гладить, то в объятиях сжимать
Ночных невест, вдов, добытых из ночи.

А девочек задерганные сны
Оттенков цвета савана полны,
Они, едва закатится светило,
Свободны от болезней и смертей,
Оторваны от сломанных кроватью мужских костей:
Лебёдки полночи их вынут из могилы.

2.
Вот наше время: гангстер и его подружка,
Два плоских призрака. Любовь на пленке
В наш плотский взгляд хоть искорку огня
Несет, с полночной чушью раздуваясь.
Но чуть проектор кончил – их уносит
В дыру. И нет их на задворках дня.

Между юпитерами и нашими черепами
Отраженья ночных видений вертятся, вызывая дрожь,
Чтобы мы, глядя, как тени то целуются, то убивают,
Поверили в реальность и стрельбы, и объятий,
Влюбляясь в целлулоидную ложь.

3.
Так что ж такое мир?
Который из двух снов пойдет к чертям?
Как выпасть нам из сна?
Зады поднимет красноглазый зал –
Прочь, полотно крахмальное и тени,

Прочь, солнечный владыка сказочек Уэллса,
Ты лучше б из реальности сбежал!

Но глаз на фотокарточке женат,
И одевает он невесту в кожу
Нелепой кривобокой правды.
Сон высосал у спящих веру в то,
Что люди в саванах вновь оживут исправно!

4.
Вот это – мир: он лгущая похожесть,
Клочок материи, что рвется от движенья,
Любя, но сам оставшись нелюбимым,
Ведь сон выкидывает мертвых из мешков
И делает их прах зачем-то кем-то чтимым.
Поверь, что мир таков.

Мы прокричим рассветным петухом,
Отправим к черту мертвецов забытых,
И наши выстрелы легко собьют
Изображенья с кинолент. А там
Мы снова сможем приравняться к жизни:
Всем, кто останется, – цвести, любить и жить!
И слава нашим кочевым сердцам.

ΔΔΔ

11. ОСОБЕННО, КОГДА ОКТЯБРЬСКИЙ ВЕТЕР

. ...Особенно, когда октябрьский ветер
Мне пальцами морозными взъерошит
Копну волос, и пойман хищным солнцем,
Под птичий крик я берегом бреду,
А тень моя, похожая на краба,
Вороний кашель слышит в сучьях сонных,
И вздрогнув, переполненное сердце
Всю кровь стихов расплещет на ходу –

Я заточен в словесную тюрьму,
Когда на горизонте, как деревья,
Бредут болтливые фигуры женщин,
А в парке – звездная возня детей...
И я творю стихи из буков звонких,
Из дуба басовитого, из корня
Терновника, или из этих древних
Соленых волн – из темных их речей.
И папоротник маятником бьется:
Раскрой мне этот нервный смысл времён,
Смысл диска, вспыхивающего рассветом,
Смысл флюгера, что стонет от ветров, –
И я опять стихи творю из пенья
Лужаек, шорохов травы осенней,
Из говорящего в ресницах ветра,
Да из вороньих криков и грехов.

Особенно когда октябрьский ветер...
И я творю стихи из заклинаний
Осенних паучков, холмов Уэллса,
Где репы желтые ерошат землю,
Из бессердечных слов, пустых страниц –
В химической крови всплывает ярость,
Я берегом морским иду и слышу
Опять невнятное галденье птиц.

12. ТЕБЯ ВЫСЛЕЖИВАЛО ВРЕМЯ

Тебя выслеживало время, как могила,
Гналось, ласкаясь и грозя косой,
Голубка, в катафалк запряженная в твой,
Любовь наверх по голой лестнице спешила
Под купол черепаший, и тогда

Настал портновский час: вот ножницы шагают.
О, дай мне робкому, дай сил средь робких сих.
Я без любви так наг! Бездомно я шатаюсь,
Ведь у меня украли лисий мой язык!
Портновский метр отмерил время!

О, Господа мои вы, голова и сердце,
Позвольте тощей восковой свечой
От мерзлых синяков души мне отогреться,
Забыть тот стук лопат, и – головою в детство!
От всех логичных мыслей прочь.

Ну как с моим лицом воскресным, школьным, постным,
С мишенью этих глаз, как будет мне дано?
Мне в куртке времени, смертельной и морозной,
Успеть ли в жизни мне замкнуться в женском «о»?
Или в смирительной могиле?

Вы, гложущие мозг, вы надо мною властны,
Морзянкою стуча по черепам камней,
Отчаянье в крови и веру в бабью влажность
Оставьте мне меж ног, и не мешайте ей
Средь евнухов собою стать…

О, глупость возраста! Куда скажи мне деться?
Над черепом любви вдруг с неба молоток!
Ты череп, ты герой, ты труп в ангаре детства,
Ты палке всё твердишь, мол не настал ей срок,
Так я и никогда…

Но радость, господа, без стука входит в двери,
И пусть железный крест мне поперек пути,
Ни деготь города, ни темный страх потери
Не помешают мне по щебню перейти
Через расплавленный смертельный…

Я восковую свечку в купол окунаю
(Так радость или прах маячит там в окне?),
Бутон Адама вскочит, продырявив саван,
Для сумрачной любви есть всюду место мне!
Сэр череп мой, вот где твоя судьба!

Конец всему придет. И эта башня тоже,
Как пирамиды слов, как дом ветров, падет.
Мяч пнут ногой. Окаменелость кожи,
Как ночью сцена опустевшая замрет
Без солнца…

Вы люди,– вечно сумасшедшие, – как люди.
Уистлеровым кашлем ветер заражен.
И Время-тление мчит за тобой по следу,
И ты, преследуемый топотом времен,
Отдашь за шулерство любви весь этот
Поцелуеупорный мир.

ΔΔΔ

13. ОТ ЖАРА ПЕРВОЙ СТРАСТИ ДО ЧУМЫ

От жара первой страсти до чумы,
От нежной той секунды до пустых
Недель, потерянных когда-то в лоне,
От распускания бутона до
Мучения срезаемых цветов,
Был и слюнявчика зеленый возраст,
И рот, над коим голод был не властен:
Мир был един. Был – нечто ветровое.
Он окрещен был струйкой молока.
А небо и земля еще казались,
Прозрачным, обдуваемым ветрами,
Одним холмом. А солнце и луна –
Одним, еще не разделенным светом…

От первого следа босой ноги
К руке, копающейся в волосах,
И к чуду только слепленного слова,
От первой и невнятной тайны сердца,
От призрака, что вдруг предупреждал,
До самых первых изумлений плоти…
И солнце стало алым, а луна
Жемчужно-серой. А земля и небо
Сошлись и встретились, как две горы.

Все тело благоденствовало. Зубы
Росли и утверждались в крепких деснах.
Предощущение мужских семян
Светилось. Кровь благословляла сердце.
Четыре ветра, бывшие одним,
В моих ушах сияли светом звука
И звуком света надо мной кричали…
И множился, и желтым был песок.
И золотилась каждая песчинка,
И для другой выплевывала жизнь.
И зелен был поющий дом. Та слива
Все время в матери моей росла.
И мальчик тот, что свету на колени
Был ею выброшен из тьмы, возрос,
И стал прислушиваться к крику бедер.
И голос голода зудел в костях,
В ветрах и в солнце…

Я начал изучать людскую речь,
Чтоб в каменные идиомы мозга
Все очертанья мыслей загонять,
Чтоб оттенять и заново сшивать
Лоскутные образованья слов,
Оставленные мертвыми, которым
В их тесном и всегда безлунном акре
Тепло словесной ткани ни к чему…
Язык беспомощен: конец ему
От расползанья рака наступает,
И подпись червяка – небрежный крест.

Я выучил глаголы сильной воли
И собственную тайну заимел.
Смысл ночи бил меня по языку.

И все единое теперь звучало
Сплетеньями бесчисленных сознаний.
Из них одно лишь изрыгало суть.
Ведь только грудь давала жар любви.
У неба, разделенного с землей,
Я научился двойственности… Шар
Двойной, родительский, легко вращался,
И возникали партитуры слов.
Так тысячи разрозненных сознаний
Давали пищу новому бутону,
Который разветвлялся перед зреньем…
Сгущалась юность. Капли слез весны
Накапливаясь, растворялись в лете
И в безымянном множестве других
Времен того же года. Только солнце –
Единое, как манна на потребу,
Согретая и скормленная мне….

14. В НАЧАЛЕ – ТРИ ЛУЧА ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ

В начале – три луча одной звезды,
Улыбка света на лице пустом,
Укорененье воздуха; а в нем –
Ветвящейся материи спираль,
И первосолнца круглый циферблат
Вращал неразделенно Рай и Ад.

В начале – бледное факсимиле
В три слога, как неясная улыбка,
Как оттиск на поверхности воды,
И отчеканивался лик луны;
Кровь, по кресту стекавшая в Грааль,
Оставила на облачке следы.

В начале пламя яркое взвило
Из искр – все бури, грозы и шторма,
Трехглазой, алой вспышкой расцвело
Над струями крутящихся морей;
Насосы-корни гнали в стебли трав
Масла таинственные из камней.

В начале было Слово. Было Слово.
Оно сквозь плотность световых лучей
Дыханием тумана и дождя
Все смыслы слов из бездны извлекло,
И расцвело само, переводя
Для сердца суть рождений и смертей.

В начале был незримый, тайный разум,
Отлившийся в мыслительный процесс,
Но до того, до разветвлений солнца,
До дрожи вен сплетенных – до всего
Кровь разнесла по всем потокам света
Корявые прообразы любви.

15. СВЕТ РАЗРАЗИТСЯ ТАМ, ГДЕ СОЛНЦА НЕ БЫВАЕТ

Свет разразится там, где солнца не бывает.
И там где моря нет –
Но есть приливы и отливы сердца,
И призраки в мозгу как светляки,
И все, что сотворил предвечный свет,
Сквозь плоть проходит там, где плоти нет:

Свеча меж бедер греет юность, греет семя,
Сжигая все, что возраст нам несет,
Там, где не всходит никакое семя,
Меж звезд раскручивается человечий плод.
Он ярче яблока, он свет свечи пронес
Сквозь мглу волос...

Рассвет – в полузакрытые глаза,
И кровь играет, как морской прибой,
От черепа до самых пальцев ног,
И вот во тьму врывается струей
Несдержанность небесного фонтана –
Улыбка, обращенная слезой.
В глазницах ночь, как черная луна, –
Тьма вдоль течения безвестных рек,
Но светом дня земля освещена,
Теплы пронизывающие ветра,
И зимняя одежда не нужна,
И завеси весны свисают с век...

Свет вспыхивает в тайных уголках,
Где мысли пахнут ранними дождями;
Там логика мертва. Там смысла нет,
Мысль пальцами не роется в словах,
Но тайны всей земли растут в глазах.
И кровь играет в солнечном сверканье,
И ширится над пустырем рассвет.

16. МНЕ МЫСЛИ ЦЕЛОВАЛ СОН

Мне мысли целовал
сон, друг мой сон,
Глаз сонно уронил слезу времен
И повернулся, как луна, ко мне.
Я рядом с двойником моим летел,
И в небо устремился, сбросив сон.

Вот так с земли удрал я нагишом,
Достиг другой земли, что дальше звезд,
Карабкаясь уступами стихий,
Рыдая в кронах вместе с двойником,
Но и оттуда я взлетел пером.

А в алтаре – мир моего отца:
«Да, мы ступаем по земле отца!»
Тут сонмы херувимов так нежны!
«А это? Это лишь людские сны:
Дунь – и они исчезнут...» А фантом

С глазами матери исчез, когда
Я сдул в постельки херувимов тех,
Но дунув, потерялся навсегда
Среди теней, что спят на облаках,
Не зная ничего о двойниках.

Но поднял голос воздух полный сил,
Вскарабкавшийся по ступенькам слов,
И записал я легкий сон звезды
Рукой и волоском на той земле:
Он легче был, чем отсветы воды,
Чем пробужденье в облаках миров.
И лестница Иакова росла,
Тянулась, приближаясь по часам,
К светилу. Каждая ступень ее
Мне и утраты, и любовь несла,

Ступенька, вновь ступенька. Шаг, другой...
И каждый дюйм ее в крови людской.
Ввысь очумелый старец лезет там,
И призрачный наряд не скинув с плеч,
Отцовский призрак влазит по дождям.

17. ПРИСНИЛОСЬ МНЕ В ПОТУ

Приснилось мне в поту мое возникновение.
Сквозь скорлупы могучее вращенье
Оно по тросам нервов через зрение
Как механическая мышца прорывалось.

Оно от складок плоти отходило,
От червовидных пальцев отделялось
Сквозь гвозди трав, сквозь медный облик солнц
Расплавивших ночного человека.

Наследник вен всеобжигающих, в которых
Еще есть капля дорогой любви,
Я этой сущностью моих костей
Весь унаследованный шар освоил

И путешествие (читай «стиха творенье»)
Сквозь человека (сущности ночной!)
Прошло на самых низких скоростях –
Так снилось мне мое возникновенье.

Я умер под шрапнелью в тот же час.
Мне вбили в марширующее сердце,
В зашитую дыру мой сгусток крови,
И смерть в наморднике, глотавшем газ.

И вот – вторая смерть. За ней холмы,
Тяжелый урожай болиголова,
Кровь ржавая и лезвия травы –
На ржавых трупах – объявляют снова
Еще одно сражение – за жизнь!

Всех мощью при своем втором рождении
Я поражал: скелет оделся плотью,
Пусть призрак гол, но мужеству плевать
На боль, возникшую уже вторично.

Приснилось мне мое возникновение:
Мой смертный пот два раза падал в море
Кормящее. И морю надоели
Рассолы слез Адамовых, и там,
Там – новый человек?– Ищу я солнце.

18. МОЙ МИР ПИРАМИДА

1.
Пол-сына есть отец, когда удвоен
Адам на корабле уже пустом,
Пол-сына – это мать, ныряльщик в завтра –
Рог похоти в молочном изобилии.
Гроза. Их тени движутся ритмично…
Так неожиданно рождение потом!

Пол-сына, вроде, все-таки замерзло,
Пока весна ржавея, пузырилась,
И семя с тенью бормотало глухо.
Пусть половина призраков замерзла –
Любовь взошла, и струйка молока,
Взлетев, забьет фонтаном из соска !

Обломки половинок бок о бок
Стучались в сон, толпясь среди морей
В приливах тьмы голов и пузырей,
И что-то пело в том начале мира.
Со смехом удалось ему и ей
Проткнуть в могиле спящего вампира.

Обломки, сшитые из лоскутов,
Вбежали на копытцах в мир ветров
Сквозь дикий лес, что полон омерзенья,
И в темноте засевший цианид
Враждебный таинству совокупленья
Извивами гадючьих кос грозит!
Каков цвет славы? Ну а смерти цвет ?
В игле дыру пробить и уколоть
Через наперсток палец необъятный
И бессловесный. Он еще не плоть,
Но, запинаясь, только зарожден,
Слепит глаза и сеет хаос он.

2.
Весь мир мой – пирамида. На соленых
И охристо-пустынных срезах лета
Рыдает эта мумия. В пеленах
Сгибается египетский доспех,
Но сквозь смолу скребусь я к звездной кости
И к солнцу ложному, что цвета крови.

Мой мир – тот кипарис и та долина…
Как снова сделать целой плоть под градом
Австрийского огня? Сквозь гром я слышу
Все барабаны мертвецов моих.
Кишки тех изрешеченных парней
Еще змеятся по холмам костей.

И крики – «Или, или, Савахвани!» –
За переправою на Иордане
Моя могила полита водой.
Из Арктики? Из тех морей. что к югу?
На гефсиманскую тюрьму в мой сад…
И все, кто отыскать меня хотят
По следу Азии – меня теряют.

А я уже в Уэллсе. Половинки
С копытцами качаются в прибоях
И в ракушках плутают. Враг рождений,
Чёрт с огненными вилами не даст
Понюхать пятки нового младенца,
Мешает сплетничать колоколам.

И вот скольжу я ангелом под небом.
Кто сдует смерть? А в чем вся слава цвета?
В совокупленье! Я вдуваю в вену
Невнятной смерти темное перо.
Младенец тайный, на волнах качаюсь.
…Качается, работая, бедро!

ΔΔΔ

19. ВСЁ ВСЁ!

1.
Всё всё! Рычаг сухих миров.
Морская твердь – эпоха льдов.
Масла – во всем. Обломок лавы.
Город весны. И поворот
Цветка к земле, и колесо
Огня – вращенье городов.

Но как же, как же плоть моя?
Пустая пашня – бурой тенью.
Соски морей. Железз явленье.
Всё, всё и всё. И плоть – в движенье,
Грех. Костный мозг. Возникновенье.
Вся плоть – рычаг сухих миров.

2.
Не бойся мира в час труда.
Не бойся сердца в клетке ребер
Стальных. Не бойся никогда
Химической и ровной крови,
Миров размалывающих и
Тяжелых топотов машинных,
Курка. Серпа... Тех искр старинных,
Что кремень сыплет в миг любви.

С ослиной челюстью Самсон.
Грех плоти знай! Запоры клеток
И серпоглазый ворон. Он
Тут заперт до скончанья света.
Рычаг всех рычагов. И это –
Торопит звуки граммофон.
Лицо любовника послушно,
А искры кремня сыплют стон.

3.
Всё, всё и всё. Миры мертвы.
И призрак с призраком сольется.
Тот, кто грядущим заражен,
Получит по пути из лона

Начала формы. А пока –
До первой капли молока –
Удар металла по живой
Моей ж плоти через шкуру.
На смертном круге квадратура
Миров, взорвавшихся травой.

Цвети, взаимопроникновенье
Людское! Спаренный бутон.
Свет из зенита вспламенен
Виденьем плоти. Продвиженье
Безвестных масел моря – ввысь.
В мирах любви огни сплелись.
Всё, всё и всё – одно цветенье.

ΔΔΔ

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

(1936)

20. Я ВИЖУ СВОЙ ОБРАЗ

1.
Я вижу свой образ на двух уровнях сразу, словно верхом на себе. Выкованный
из человечьей плоти поэт, бесстыдный, юный, латунный,
Заталкиваю свой призрак в свинец типографских литер,
Весы этого двухчашного мира – создатель – сам же свое творенье.
Призрак моей половины в латах держится за беззащитную половину
И упирается, хватаясь за стены коридора, ведущего к смерти.

Судьба из луковки стрелкой выталкивает весну.
Пеструю, как веретено: это время болевых усилий
В мире пробивающихся лепестков,
А пряжа ее – и соки и кровь, и пузырьки и хвоинки...
Все это от корней, кормящих сосну, человека вздымает как гору,
Выращивает его из почти ничего – из недр голых.

Такова судьба призрака – сначала чудеса разбрызганы,
Картина картин – это мой выкованный пером фантом,
Прорастает сквозь голубые колокольчики и медные колокола
Человек, эфемерный, словно листва,
и бронзовый, словно бессмертие,
Смешивая зыбкую розу строк с ритмом мужского движенья.
Я создаю двойственное чудо стиха и себя.

Это начало взрослости (за которой неминуема гибель),
Башня – это судьба, на которую надо влезть, но она без опоры.
Пока стоит, но карабкаться надо выше и выше.
Самая естественная смерть – карабкаться без остановки,
И я, – человек, вампир, не имеющий тени,
Вол работаюший, дьявол воображенья в спазмах молчанья.

Обычная закономерность: чем выше, тем ближе к концу...
Образы карабкаются по деревьям, льются как сок по туннелям.
Ну что опасней зеленых шагов? А где-то предшественник.
Я со своей деревянной пчелой, со стихами, в терновом венце,
Внутри стеклянной виноградины я, а со мной
И лепестки строк, и улитка мысли.

Мы слабы – все мужество растрепалось, и жизни на волоске...
Путешествие по часовой стрелке из гавани символов.
Эта вода – наш последний путь: вскоре придут иные,
Те, незнакомые, которых приветствуют лепестки моих роз
На террасе туберкулезного санатория шепча «прощайте»...
И мы отплываем, уступая пристань прибывшим с моря.

2.
Карабкаются строки на силосную башню, а там
12 ветров встречают облачный белый призрак.
Оседланные луга, – их загоняют в холмистый загон –
Видят они всё: и то, как спотыкается белка,
И то, как заяц или улитка, шатаясь, ходит вокруг цветка,
И ссору ветров с деревьями на винтовых ветровых ступенях.

Когда они спрыгивают вниз – оседает пыль,
Но сыплется густо и непрерывно смертельный гравий.
Водяная дорога – путь белых медведей, котиков и макрелей.
И строки спешат вдоль длинной артерии моря,
Слепые лица поворачивая к врагу,
А мертвое слово без всадника – к стенке канала...

(Смерть – инструмент, чтобы взрезать глаз во всю длину,
Отмычка, отвертка, отвинчивающая гроб,
Твоя могила – и в пупке, и в соске, и... где?
Ноздри под маской хлороформа творят кровавый
Набор скальпелей... Похороны с антисептикой
Прочь отгоняют черный патруль

Твоих чудовищных офицеров и распавшуюся армию,
Пономарь-часовой с гарнизоном чертополоха,
Петух на навозной куче кукареканьем Лазаря воскресит,
Всё – суета сует! Пусть этот прах тебя тщится спасти
На волшебной почве, вырастив строки из ничего)

Когда стихи тонут, вдали заливаются колокола,
Ныряльщик – звон его колокола льется по шпилю пены.
Вот еще одна звонкая ступенька в мертвое море.
Ныряльщикам этим аплодируют так, что закачается
Даже эмбрион строки – тритон,
                              привязанный водорослями к виселице.
Слышны ли тебе в глубине виноградинки
                    Стёкла, разбивающиеся солено и похоронно?

Поверни веретено моря – завертится плоская земля в желобках,
По ним – граммофонная иголка молнии
ослепит одну сторону пластинки
С голосами, звучащими словно с луны, вертящейся на столе.
Пускай себе восковая пластинка лепечет, скрежеща, выпевая
Влажные, стыдные следы тайны:
Это фонограмма жизни твоей. А круглый мир – неподвижен.

3.
Они страдают в вампирьих водах, где хищные черепахи
Вползают в торчащие башни, об которые бьётся море,
Как будто сдвигается крайняя плоть, и
Чувственный череп спешит, и клетки спешат куда-то,
Страдайте, перепутаницы-наперсточки-строчки,
от того, что двойной ангел
Вскакивает из камня, как дерево над пустынной землей.

Станьте призраками самих себя, призрачными остриями,
Трубой медной, образом бестелесным, нанизанным на безумия,
Восходя лестницей Иакова, глядящей в звёздное небо.
Возникнет холм в дыму и головокружительная долина.
Пятикратно призрачный Гамлет на отцовских кораллах
Увеличит рост мальчика-с-пальчик чуть не до целой мили.

Страдайте от зрения, обрезанного зеленым плавником,
Будьте около кораблей, побитых морем, на якоре пуповины.
Не можешь ни о чем, кроме? Тогда утопи свои клепаные кости
В кораблекрушении мышц. «Оставь надежды» и на любовь,
Прекрати битву, оставь и любовь, и туман, и огонь на ложе угрей.

В крабьих клешнях кипящего круга, в море частица тебя,
Инструмент этот временем окольцован: ты уже взрослый!
Железо в моей крови обычно для города, избиваемого дождями,
Я в пламенном ветре поэзии вырос из зеленой колыбели Адама.
Нет человека волшебней, чем вытащенный когтями из... крокодила.

Человек был шкалой весов, эмалевой птицей смерти.
Хвост. Нил. И морда. (В седле уже, а не в тростниках Моисей).
Шуршал папирус.
Время в домах без часов качало череп как маятник.
Выпотрошенный человек в пирамиде (полет Грааля!)
Рыдал об утраченной чистоте. Он был мастером мумий,
Гримером трупов.

Из ветра слепленный призрак властен над человеком,
Посмертная маска разложившегося фантома.
А мой призрак выкован из посейдонова металла,
Из человечьего минерала. Это он был богом.
Богом первоначал в хаотичном водовороте моря.
И все мои образы, рыча, вылазят из глубины на холм неба.

ΔΔΔ

21. И ПРЕЛОМИЛ Я ХЛЕБ

И преломил я хлеб. Он рожью был когда-то.
Вино – создание земли чужой –
Пульсировало в плоти винограда;
Но труд людей дневной и ветр ночной
Скосили рожь, с лозы сорвали радость.

Когда-то, – счастье голубой лозы –
Кровь лета билась в виноградной плоти,
Хлеб был веселой рожью на ветру,
Но людям надо было солнце расколоть
И вольный ветер придавить к земле!

И преломил ты плоть, и пролил кровь –
Осиротели виноград и рожь,
Возросшие когда-то
Из чувственных корней лозы и злака...

Мое вино ты пьешь. Мой хлеб крадешь.

22. И ДЬЯВОЛ В ГОВОРЯЩУЮ ЗМЕЮ

И дьявол в говорящую змею
Был воплощен, и на равнинах Азии
Раскинулись его сады, а грех
Возник уже в начале сотворенья,
Став бородатым яблоком в раю,
И так понятие грехопаденья
Возникло с ним... А Бог вошел в творение
Хранителем, играющим на скрипке,
С холмистой синевы сыграть прощенье.

Мы были новичками в тех морях,
Послушных Богу, и луна свисала
Вручную сделанная, в облаках
Еще не до конца освящена...
Но мудрецы сказали мне о том,
Что боги Сада на вершине древа
Добро и зло переплели в веках,
И что качаясь на ветрах луна
В пустое небо вознеслась и стала
Чернее зверя и бледней креста.

Мы знали стража, тайного хранителя
В своем раю. Он проявлялся только
В святой воде, в той, что не замерзает,
И в мощных утрах молодой земли.
Но Ад принёс нам серное кипенье
Да миф о двух раздвоенных копытах,
А рай нам дал всего лишь полночь солнца,
Да ту Змею, игравшую на скрипке
В дни сотворенья...

23. ВОТ НАСЕКОМОЕ И МИР

Вот насекомое и мир, которым
Дышу, когда заполнили пространство
Мне символы, а символами мир
Мои стихи заполнив, гонит время
Сквозь стены города «здесь и сейчас!»,
Но половина времени уходит
На то, чтоб только фразу подтолкнуть!
Я смысл делю на сказку и реальность.
И резко опускаю гильотину:
Кровь. Хвост отдельно от башки – свидетель:
Убит эдем, увяло возрожденье.

Стих? Насекомое? Чума, проклятье сказок?...

Стих этот – монстр (прикинулся змеей).
Обвился вокруг контура, слепой
И длинный, обвивает стену сада,
И в шоке разбивает скорлупу.
Вот перед насекомым крокодил.
Крылатое, оно – осел субботний:
Так новый стих разрушит прежний стих.
Иерихон по Раю ударяет!

Но сказка насекомая реальна!

Смерть Гамлета, безумцы из кошмара.
А крылья мельницы – на деревянной
Лошадке? Зверь из Апокалипс...
И терпеливость Иова. (Виденья
Надуманы.) Античный вечный голос
В ирландском море: «Я люблю, Адам!
А чувства сумасшедших бесконечны!»
Умрет любой классический любовник:
История подвесила на ветви
Всех, чья любовь вошла в ее легенды.
Мое ж распятье зрителю не видно
За театральным занавесом века...

24. ТАК ПРОСТО НЕ ОСЕМЕНЯТ

Так просто не осеменят
Тот призрачный, тот лонный град,
Ведь в нем не дремлют бастионы:
И никогда богогерой,
Споткнувшись о рубеж крутой,
Торчащей башнею святой
Не рухнет вдруг на это лоно.

Так просто не осеменят
Тот призрачный, тот крепкий град,
Пробившись через бастионы,
Да. Никакой богогерой
Горизонтальной башней той
Преодолев порог святой,
Рубеж святой – не внидет в лоно..

Нет, семя звездное никак
Не вломится туда, как враг,
Небесные войска сметая,
Оно есть манна почве той,
Покой для глубины морской,
Оно пред девственной стеной
Сразится с волей стражи злой,
Что охраняет ключ от рая.

Нет, семя звездное никак
Не вломится туда, как враг,
Небесные войска сметая,
Оно есть жизнь для почвы той,
Восторг для глубины морской,
Оно пред девственной стеной
Подавит волю стражи злой,
Что потеряла ключ от рая.

Как скромный хутор скажет «Да»
А континент, боясь труда,
Откажет, на чём свет ругая
Героя? Не небесный свод,
А дюйм зеленый пронесет –
И жизнь убежище найдет:
Ее у пьяных берегов

Матросы спрячут от врагов,
От иродовых полицаев.

Ну как планета скажет «Да»?
Деревня ж, убоясь труда,
Откажет, на чём свет ругая
Героя? Не трава спасет,
А свод небесный пронесет,
И жизнь укрывище найдет:
Ее у жаждущих брегов
Матросы спрячут от врагов,
От иродова полицая.

Почти ничто, он, эмбрион
Из дальних стран сюда внедрен,
Да посягнет на град небесный!
Ни звезднобокий гарнизон,
Ни грозный пушечный заслон
Не будет завтра вовлечен
В бой вредный и неинтересный…

Почти ничто, он, эмбрион
Из звезднобоких стран внесен,
Заморскую повергнет силу,
И пусть в окопах гарнизон,
Пусть из мешков с песком заслон,
Но если град не побежден,
Не взят, не оплодотворен –
Он вырыл сам себе могилу.

ΔΔΔ

25. НЕ БОГИ ЛУПЯТ В ОБЛАКА

Не боги лупят в облака,
С чего-то проклятые громом,
Зачем богам рыдать, пока
Без них взвывает непогода?

Расцветкой туники богов
Едва ль на радугу похожи.
Ну, дождь идет. А боги где?

Они ли разливают воду?
И кто же? Старый Зевс из лейки?
Или из титек – Афродита?
Нет, нянька-ночь ворчит и мокнет:

Ведь боги – это только камни,
Но камень не сравнить с дождем:
Он по земле не взбарабанит,
Всем внятным, легким языком!

26. ЭТОЙ ВЕСНОЙ

Этой весной звезды плавают в пустоте,
Этой узорной зимой голая непогода
Сдирает шкуры, а желторотую птичку
Это спелое лето хоронит.

Символы зодиака выбраны из множества лет,
Кружащихся по циферблату, из времен года,
Чтобы осенью выучил ты
Три остальных времени, – трех костров свет
И четыре птичьих ноты всего-то.

О сущности лета деревья расскажут мне,
А черви, – только о зимних похоронах солнца,
И кукушка научит меня весне,
А ничтожный слизняк – объяснит процесс разрушенья.

Слизняк – верная замена календарю погоды.
Червяк точнее часов укажет явленье лета,
Но что он скажет мне, когда предвечные насекомые
Предскажут подползающий конец света?

27. «НЕ ТЫ ЛИ МОЙ ОТЕЦ?»

Не ты ли мой отец? – Рука ввысь, будто башня, –
Не часть ли башни той, что я весь век творю?
Не ты ли мать моя? – Ведь я такой как есть я,
И дом любви дрожит от моего греха.
Не ты ли мне сестра? – И разве преступленье –
Узоры башенок? Моя ль, твоя ль вина?
А ты не брат ли мой, – карабкаясь на башню,
Мечтаешь летний день увидеть из окна?

А я? Я – и отец, и мальчик, восходящий
Ступенями, и я – сын матери моей,
Ребенок резвый и внимательно глядящий
На сумрачный залив. Я – летней плоти суть.
Я не сестра ль себе, и кто он, мой спаситель?
Я – все вы враз у предсказуемых морей,
Где птица с ракушкой в моей словесной башне
Болтают что-то над песком строки моей!

Ты – это все они! – мать нас кормя сказала.
Ты – это все они! Не строй же из песка!
(И Авраам встает, меня обрекши в жертву),
Кто строил, кто ломал – то всё – твоя рука!»
Я существую. Да! – так повторяла башня,
Разваливаясь от удара вне времен,
И разрушителю моих безумий страшно,
Когда в кольце руин он мрачно вознесен,

Как людотворцы на сухом морском мираже...
Не ты ли мне отец над зыбкостью песка?
Ты царь сестер своих, – внушал мне мол замшелый
И те, кто скучно жил по правилам игры.
Так задом наперед не раскрутить ли землю?
На горе ветровым строителям утех?!
Во прах легли и дом любви, и башня смерти,
Не ведая о том, кто на себя взял грех.

28. НЕ МНОГО ВЫУДИШЬ ИЗ ВЗДОХОВ

Не много выудишь из вздохов,
А уж из горя – вовсе ничего...
И эти строки
Я высек не из вздоха, не из горя –
Из огнива агонии...

Дух, разрастаясь, забывает всё,
Всё кроме крика....
Ну, пробуют на вкус и одобряют:
(Не всё ж разочаровывать должно бы,
Ведь хоть какая-то определённость есть!)
Вот – правда постоянных поражений:
Невнятность не относится к любви.
Ну что ж! Раз так, то так....

Но побежденный и слабейший знают,
Что поле битвы больше чьей-то смерти.
Так не противься боли, ну а рану –
Перебинтуй: боль будет очень долгой.
И даже если ты без сожаленья
Ушел от женщины, она ведь ждет,
Ждет все равно, как своего солдата:
Из пятен слов разбрызганных сочится
Такая едкая и злая кровь...

Да, если б сожаления хватало
На то, чтоб боль не чувствовалась после
Всего, что делало тебя счастливым,
Всего, что насылало светлый сон
О том, как ты и вправду был счастливым,
Пока обманы строк твоих звучали,
Да, если б сожаления хватало –
Тогда пустые, в сущности, слова
Взвалили на себя бы все страданье
И вылечили...

Если вправду было б
довольно мышц, костей,
Да перекрученных мозгов и крови,
Да гладких ляжек – ведь тогда бы ты
Разнюхал и в собачьей миске смысл,
И, как щенок от чумки, излечился.

А я вместо всего,
что только может человек отдать,
Я предлагаю крошки этих строк:
Вот корм и конура, и поводок…

ΔΔΔ

29. КРЕПЧЕ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА СТАРИННЫЕ МИНУТЫ

Крепче держитесь за старинные минуты в месяце кукушки!
Под кронами высоких деревьев на Гламорганском холме,
Когда зеленые ростки рвутся вверх в скачущем ритме времени.
Оно – хозяин, оно – очумелый всадник – вперед и вперед –
Вольтижирует среди высоких деревьев; и пес у его стремени.
Время эту жизнь земляков моих от нависшего тяжкого юга ведет.

Деревня, твоя отрада – лето! А декабрь на пруду
У водокачки, подъёмного крана, потрепанных деревьев
Лежит, давно уже не помня коньков, скользящих по льду.
Держитесь крепче, дети Уэллса, в мире сказок и таинственных трав:
Зеленый лес умрет, когда олени станут падать на тропках...
А пока что – пора скачек с препятствиями, в сторону летних забав.

А пока – английский рожок из воздуха вылепляет звуки,
Призывающие снежных всадников, и холм в четыре струны
Надо всей требухой моря оживляет камни пеаном.
Ружья, плетни, барьеры... Вздохом вздымаются валуны,
Лопаясь как пружины в тисках. Костоломный апрель,
Сбрось наземь безумного охотника, скачущего по осенней листве,
Закинь подальше надежды, которые так нам казались прочны!

Падают четыре подбитых времени года на землю, и цвет их – ал!
Топают по лицам моих земляков, кровавыми хвостами метут,
Время, очумелый всадник, над седлом долины привстал,
Держитесь крепче, дети Уэллса: ястребы налетают незаметно,
Золотой Гламорган выпрямляется навстречу падающим птицам...
Отрада для вас – нежданное лето, когда сердитая весна уже тут как тут!

30. ДА БЫЛО ЛЬ ВРЕМЯ

Да было ль время скрипочек когда-то
В руках забавников, ходивших по канату,
Тех, что, играя детям, утоляли
Свои ненастоящие печали?
Они могли над вымыслами плакать,
Над книжными страницами, однако
Подножку время им в пути подставило,
И прежней безопасности не стало:
Ведь безопасна только неизвестность,
И только у безруких руки чисты,
Не знает боли призрак бестелесный,
Слепой же – зорче зрячих, как известно.

31. ИТАК – СКАЖИ «НЕТ»

Итак –
Скажи «нет»,
Черствый человек,
Взорви, взорви ту смертную скалу,
Ради любви взорви...
И якоря спасенья
Покроются цветами.
Ты не должен
Во имя установленных порядков
По праху топать, прыгать через прах:
Тот, кто упорством жертвует, – дурак.

Итак –
Скажи миледи-смерти «нет».
Не говори ей «да»:
У ней найдется
И без тебя поддакиватель. Да.
Тот, кто грозился разрубить ребенка,
Свою сестру безбратнюю отправить
Под зубья пил не сможет никогда.

Итак –
Скажи миледи-смерти «нет».
Да, мертвые кричат. Не в этом дело,
Все это тень.
И ворон, севший наземь,
Рождает слух о гибели всего,
Но восходящий из огня прибой
Крик гребешка возносит над землей.

Скажи ей «нет».
Так падает звезда,
Так мячик пролетает мимо цели.
Так солнечная суть, подруга света,
Над пустотой на лепестках танцует,
С мистическою женственностью слов
Мед собирают всадники цветов.

Итак,
Скажи ей «нет»,
И наплевать
На мохноногость смерти и на призрак,

Что отзывается на всякий стук,
И на печать из апокалипсиса, и...
Мы таинство творим кистями рук,
И крайней плоти контуром капризным.

ΔΔΔ

32. НО ОТЧЕГО ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР

...Но отчего восточный ветер
Пронизывает до костей,
А южный – нежно охлаждает?
Никто об этом не узнает,
Пока не стихнет буйный Вест,
Пока не высохнет колодец,
В котором жили те ветра,
В чьем веянье слышней
Фруктовая мякоть и кожура
Сотен осенних дней!

Но отчего ласкает шелк,
А камень ранит? Отчего?
(Ребенку спрашивать легко!)
Но отчего и дождь ночной,
И материнское молоко
Равно утоляют жажду? На это
Нет в мире внятного ответа.

Когда приходит Дед Мороз?
И как комету поймать за хвост?
Им не узнать до тех ночей,
Когда запорошит
Злой прах
Детские глаза
В туманных снах,
И в сумерках столпятся призраки детей...

Известно всё. Звезды из тьмы
Зовут и объясняют, что мы
С ветрами в путь отправиться обречены...
Пусть их вопросы не слышны
В глуши небесной тишины,
Где им и нам, как маяки,
Башни ночей даны.
И пропадет звезда за звездой,
Шепча: «Доволен будь судьбой!»
И «Ни на что ответа нет!»
(Звенит, как школьный колокольчик в коридоре).
И я не знаю, где ответ
На детский выкрикнутый вопрос.

Ну, может, разве, эхо во мгле
Ответит, или Дед Мороз –
Узором странным на стекле?

ΔΔΔ

33. А СКОЛЬКО БЕД ТОМУ НАЗАД

...А сколько бед тому назад
В нее, кто для меня цветение мира,
В мать вечную, как щедрая земля,
Струя хлестнула из того шипа,
Что принял ненадолго вид серпа
(Так ветер адский хлещет гладь морскую!).
И ввысь пробившись, этот стебель странно
Расцвел как роза, как шиповник нежный –
Под парусом скользнула Афродита,
Взорвавшись солнечным протуберанцем!

Там посох Аарона расцветал
Моей бедой.
Курок взведён, прострелен лист
Бутоном из свинца.
И этот, прежде свернутый в личинку
На посохе, – не он ли засверкал
Той розой, брошенной, чтоб отменить чуму?
Он – как труба, рожок или шофар,
Не тот ли головастик
Лягушкой стал?

А та, лежащая одной главой
«Книги Исхода», – та, цветок лилейный
И яростно мужской, печатью на кольце...
Она тянула и тянула нити
Наследственности, веры и прощения,
Трубящих звук священного сонета,

Сквозь дни,
Сквозь мир и плодный, и бесплодный
За розою ветров.

Но кто она? Людское море цвета крови
Вдруг наползает, выгоняя от нее
Отца из лагеря царей – долой.
Да, неминуемы наследственные клетки
В щенках! Протяжный голос вод
Готовую им форму придает.
Вот какова она: могильный строгий камень –

Кулак размером в целую деревню,
Любовью сжатый встанет перед тьмой.

А ночь близка. Азотные монады,
Кислотные подобия времен
Хватаются за мать,
Я говорю ей: до того как бросит
Ее в огонь тот солнечный петух,
Пускай она вдохнет сквозь плоть и семя так,
Чтоб притянуть к себе своих же мертвых
Цыганскими серьезными глазами.
Они ладонь ее прощально перекрестят
И медленно сомкнут ее кулак.

ΔΔΔ

34. КОГДА ЖЕ ТОТ КТО СЛУЖИТ СОЛНЦУ

Когда же тот кто служит солнцу
(Сэр Завтра знает срок)
Загадку времени сумеет разрешить?
Когда туман, глодая кость как пес,
Вдруг вострубит тромбоном ,
Чтоб строки-кости мясом обрастить,
Сняв с полок их, одеть в одежды плоти
Так, чтоб яйцо и то стояло прямо?

Сэр Завтра губкой проведет по ране,
А рана всё запомнит,
Чтоб акушерка будущих гигантов
Над тазиком, куда прольются строки,
Им помогла родиться.
Ну а раны
Зашьют ручейной ниткою туманы!

Сэр Завтра говорит вам, господа,
Что человек его – пока что странный,
Но завтрашний – растет. И есть еда.

Нужны все нервы, чтоб служил он солнцу
По ритуалу света.
Длинный камень этот
Я вопрошаю, медленно свивая
В кольцо, в петлю простое полотенце,
Чтоб землю уловить; и камень-мышка
Пищит – растет зубастый человек,
И мелкие зародыши стихов
Растут с ним вместе. Господи, долезть бы!

Сэр Завтра ставит тут печать –
Два водяных следа
Оставят на полу покрытом семенем две лапы,
А он поднимет лампу,
Мой главный смысл петлей из полотенца
Взовьет до облаков:
Вот так и учатся ходить младенцы.

А ноги их длинней деревьев.
Сам сэр Внутрей (И мистер он и мастер!)
Заплачет. А глаза определенно

Похожи на отверстия рождений:
Весь нежный ад, глухой как ухо часа,
Весь мир
Взорвется голосом тромбона!

ΔΔΔ

35. ИЗ БАШНИ СЛЫШУ Я

Из башни слышу я:
Скребутся пальцы в дверь.
В оконце вижу я:
Руки лежат на замках...
Так отпереть засов,
Или – одиноким до самой смерти,
Чтобы чужой взгляд?...
Руки, что вы несёте мне?
Яд или виноград?

Вот это – остров мой,
Где море – плоть моя,
Где берег – кость моя,
Где не слышна земля,
Где не понять холмов,
И где ни птичий свист,
Ни даже всплески рыб
Не тронут мой покой.

На острове моем
Ветра быстрей огня.
Я вижу из окна,
Как в бухте корабли
Бросают якоря.
Что ж, с ветром в волосах
К тем кораблям бежать,
        Или – до самой смерти?
И не встречать моряка?
Корабли, ну что вы несете?
Яд или виноград?

Скребутся пальцы в дверь,
И в бухте – корабли,
И дождь бьет по песку...
Впустить ли чужака?
Встречать ли моряка?
        Или – до самой смерти?..
Вы, руки чужака,
Вы, трюмы кораблей,
Что вы несете мне –
Яд или виноград?

36. УСИЛИТЬ СВЕТ!

Способствуй солнцу, но – луну не закрывай,
Болванку для людотворенья, и давай
Побережем двенадцать истинных ветров,
Что жизни суть и мозг ее нам открывают.
Тьмой властвуй, не служа мозгам снеговиков,
Тех, что Полярную звезду творят:
Из хлопьев воздуха – сосулек мертвый ряд...

Бормочешь о весне? Смотри, не раздави
Яиц, в которых дозревают петушки,
Не заколачивай как двери времена,
У каждого из них – особый, свой наряд,
Четырехплодно всё – хоть осень, хоть весна,
У красноглазых рощ ты, фермер, семена
Посей! И на морозе связи всех времен горят!

Так будь отцом, творцом хоть землям Вельзевула,
Но не пускай ростков из семени ночей,
Из мудрости совы: власть гоблинов минула!
Построй ограду ребер для земли своей,
От голосов людских до ангельского хора
Во всё примешан глас поющих облаков,
Пусть из глубин души звучит и мандрагора!

Ты сущность женская, вертись кольцом морей,
И не грусти, когда я всей душой моей
Прочь от земных любовниц – к воле в тех морях:
Любовь дрейфует на пиратских кораблях,
Средь лукострельных птиц играя телом голым,
Пусть постоянства нет, – оно мешает мне,
Взлетая и крича, быть петушком веселым!

О Ты, кто дал морям их вечный цвет и вид,
Чья длань моих собратьев глиняных творит,
Создав ковчег небес, свой образ и подобье,
Ты поселил в нем их несчетных при потопе,
Прославлен картами неведомых земель,
Мир сделай из меня, – ведь я же создал твой
Из человечьего веселого подобья!

37. РУКА ПОДПИСАЛА БУМАЖКУ

Рука подписала бумажку – и город сдан.
Пять властных пальцев даже воздух обложили налогом,
Удвоили количество трупов, разорвали страну пополам,
Эти пять королей покончили с королем-полубогом.

Мощи полна рука поэта, хоть слабее слабых плечо,
Хоть судорогой сведены в известковом огне
Суставы пальцев, держащих гусиное перо,
Покончившее с убийцами,
    покончившими с разговорчиками в стране!

Рука подписала договор – и страну лихорадит нервно,
И голод, и саранча, и все прочее – тут как тут,
Власть всемогущей руки над человеком безмерна:
Стоит накарябать имя – и свободу твою отберут.

Пять королей мертвых пересчитают. Но излечить не смогут
Струпьев на ранах, да и по голове не погладят.
Рука управляет жалостью, рука управляет Богом:
Рука – бесслезна.

38. ВСПЫХНЕТ ПРОЖЕКТОР

Вспыхнет прожектор –
                    увянет фараона священный лик,
Пойманный в восьмигранник странного света.
Запомни его, малыш, запомни за краткий миг,
Пока не исчезла таинственность эта,
Пока черты, в той, привычной им тьме,
Еще кажутся созданными из реальной плоти,
Хотя при этой вспышке, при рукотворном дне
Вянущий цвет тех губ уходит, уходит…
И вот бесконечные размотавшиеся бинты мумии
Обнажают призрачность многовеко́вой кожи…

Меня учили когда-то сердцем думать,
Но дурным беспомощным поводырем
Было сердце, – да и голова тоже.
Меня учили и пульсом думать. И с ним вместе
Торопить жизнь так, чтобы всё – бегом,
Так, чтобы даже крыши ферм не стояли на месте.
И я на бегу вызов бросаю всем временам.
Я тот невозмутимый археолог, чья борода
Подставлена египетским сумасшедшим ветра́м.
Предания всех времен в мою жизнь вплелись.
И грядущим векам тоже, наверное, предстоит…

Мячик, который когда-то в парке я кинул ввысь,
До сих пор еще не вернулся, еще летит.

39. КАК МЕЧТАЛ Я УДРАТЬ

Как мечтал я удрать подальше
От непрестанных выкриков страха,
От шипенья потертой фальши,
Звучавшей страшней и страшней,
Когда заваливались мои вечера
За холмы, в глубины морей.
Как мечтал я подальше смыться
От приветствий, прилипших давно к ушам,
От призраков, которые в воздухе кишат,
От призрачных теней на страницах,
От звонков, от записок, от хождения по гостям...

Я мечтал удрать, но боюсь того,
Что какая-то свежая, весенняя жизнь
Может вылупиться, словно из лопнувших почек,
Из шипенья старой потертой лжи –
И в небо искры взовьются с треском,
А я останусь – полуслепой,
И со мной будет тот же страх ночной,
Да поджатые губы над телефонной трубкой...
Да приподнятая шляпа, что над волосами дрожит,
Нет, уж лучше бы смерть, пролетая,
Случайно задела меня крылом.
Только так я был бы уверен в том,
Что умру не от полуусловностей, полулжи.

40. СГРЫЗИ ЖЕ ПОСЛЕДНЕЕ МЯСО С КОСТЕЙ

«Сгрызи же последнее мясо с костей,
Пей из двух молочных холмов
Суть жизни! Помои – и те не пролей,
Пока груди жизни не стали дряблей
Тряпок, а ноги – сучков кривей,
И не тревожь гробов,
Ну а если и женщина стала как лед –
Пусть бумажная роза на тряпках цветет!

Взбунтуйся, мой сын, против дружбы луны,
(Парламент небес – долой!),
Против греховной власти морей,
Тирании дней, диктатуры ночей,
И солнце скинь с вышины!
Против смертности плоти и камня костей,
Против коварства крови твоей,
Против блажи любовной и злой!»

– Но ведь жажды нет, да и голода нет,
А сердце я снова разбил:
Я в зеркале вижу подвялый цвет
Лица: поцелуй мне губы сгубил.
Пусть я хил, пусть я слаб, но девчонка меня
Сочла вполне мужиком:
Я ее повалил и поговорил
С ее веселым грехом!

Настоящая роза в постели ее,
Блажь, которую не убить,
Человек, которого не повесить,
Как солнце не погасить, –
Восстаньте вы все против истин отца,
Чтоб из хлева кровавых свиней
Не выскочил демон в облике пса,
Пожиратель радостных дней!

Нет, я не буду таким дураком,
Чтоб убить и солнечный свет,
И весну, и подружку, и красоту!
Тысячекратное «НЕТ»!
Есть радость – проснуться веселым днем
И другом назвать рассвет!

Пусть небо диктует законы земле
Бессчетные множества лет!

Ни свет, ни тьма мне не враги,
Но единая благодать!
А ты и синице, и пауку
Решил войну объявлять?
Для тебя и солнце, и судьбы людей,
И весь мир – воплощенье зла?
Так возьми обратно свои слова,
Пока тебя смерть не взяла!

ΔΔΔ

41. А ГОРЕ – ВОР ВРЕМЕН

А горе – вор времён. Оно ползком уйдет,
А годы плаваний? – Их жизнь-луна крадет,
И веру боль-воришка тоже стянет,
А веру ту, которая сильна,
Полуутопит море, ибо на
Колени мощь времён она сдувала дико.
Старик забудет привкус крика,
В часы ветров, в часы худеющих времён
Изгоев незабывших позовем,
Седлавших лунный свет на тонущей тропе:
Так старики и забывают горе.
А кашель их сухой, парящий альбатрос,
Обратно принесет их молодости кость

Лишь добреди с солеными глазами
До той кровати где лежит она,
Бросавшая как кости времена
В приливы исторических вершин,
Не зная времени, но просто влюблена
В того, кто время крал ночами (да и днями!).
И вот опять отцы его впускают в дом,
И входит с жульническим он лицом,
Смерть вспыхивает в рукаве, и временами
С добычей, с запыленною мошной,
Наполненной пустыми семенами
Опять подкрадывается она
К могиле скакуна.

Она следит за тем, кто явно вне закона,
Глядит на горе перемётное при нем –
Она не гонится с серебряным свистком,
Вдоль по ведущим к смерти пикам дней,
Кусающих смертельно пузырей,
Но никакой сексообразный третий глаз
Из центра радуги и не взглянул на вас,
А радуга соединила вновь людские
Две половинки… Все останется как есть:
По прежнему залив зовет к смертям,
Но форму жизни воры-времена
Вернут отцам…

42. И БЕЗВЛАСТНА СМЕРТЬ ОСТАЕТСЯ

И безвластна смерть остается,
И все мертвецы нагие
Воссоединятся с живыми,
И в закате луны под ветром
Растворятся белые кости,
Загорятся во тьме предрассветной
На локтях и коленях звезды,
И всплывет все, что сожрано морем,
И в безумие разум прорвётся,
Сгинуть могут любовники, но не Любовь,
И безвластна смерть остается.

И безвластна смерть остается.
Не умрут без сопротивления
Эти, волнами унесенные,
Эти, вздернутые на дыбу
И привязанные к колесу,
Пусть разорваны сухожилья –
И расколота надвое вера,
И зло, что исходит от Зверя,
Стрелой сквозь них пронесется,
Но в осколки их не разбить нипочем,
И безвластна смерть остается.

И безвластна смерть остается.
Пусть не слышно им крика чаек,
И прибой к берегам не рвется,
И цветок не поднимет венчика
Навстречу стуку дождей,
Пусть безумны, мертвы как гвозди –
Расцветет их букет железный,
Сквозь ковер маргариток пробьется,
И пока существует солнце –
Безвластна смерть остается.

43. ТОГДА БЫЛ НОВОЯВЛЕН ОН

Тогда был новоявлен он
Весь белый и в крови: новорожден,
Молился, на коленях стоя
Под колоколом каменным, о чаше
Во всех 12 апостольских морях
Согбенно, заводил часы прибоя,
Молил о спутанных ночах и днях,
Зелёных и двойных, как суть гермафродита
Он завтра – человек. Пока – улитка.
Из пламенного корабля
Щенок, обкусывая палубу вылазит,
Уже он понимает все желанья,
Которые тот, взрослый познает,
Взбираясь ввысь
По женскому, по жидкому пути
От каменного колокола – прочь,
Он их зеленым камнем света назовет
И взрослой жизнью.

Он в лабиринтах, в кривизне прибоя,
В чешуйчатых путях,
Он в раковине, выдутой луною
(В той, где рождение Венеры),
Избегнет городов, свернувших паруса,
Но все же ветром в ад сметенных:
Не попадут в Его зеленый миф
Ни куча фотографий тех, соленых,
Ни горя и любви пейзажи.
В его тяжёлой живописи маслом,
Где все от человека до кита,
Как фотки будущего. Новенький ребенок
Следит пути к Граалю,
Туда, меж плавников, сквозь кольца змей,
Через огонь и сквозь вуали,
Фотографируя мою тщету, он там
Снимает радугу в ветрах прожекторов,
Светящих с борта Ноева ковчега,
Снимает и хожденье по водам̀
(Пока детишки те из детских парков
Ещё на пальцах говорят между собой).
А мальчик (пусть еще без мысли он, но в маске)
Заводит все, что движется по часовой.

Экран, забрызганный прибоем детства
Показывал любовь, и вот
У драматического моря сердце
Разбилось…

– Кто мою историю убьет???
Вот ряд кремней кривой,
И время награждает хромотой,
И зубья из воды, и серп его тупой,
Оно создатель и оно убийца
Истории…
– А кто бы мог
Оракулом заместо аппарата
Печать бесформенную закрепить
Той тени, что из завтрашнего дня…

– Но Время, может быть, убьет меня?
– Нет, –говорит он, – нет, нельзя убить:
Ничто зеленое никто еще не ранил!
Ну кто такое сердце искромсает
Об эту зелень? Все, что не убито…
– Я видел сам, как время убивает
Меня…

ΔΔΔ

44. НА ПОЛПУТИ В ТОТ ДОМ

1.
На полпути в тот дом, где в знаках зодиака
Меж сумерек алтарь совою затенен,
Она лежит и смотрит в сторону могилы,
Ребро Адамово, раскинувшись как вилы,
Из коих порожден пес адский, Абадон.
Обжора Геркулес, жеватель новостей,
Кусатель мандрагоры завтрашних событий,
Он, затерявшийся в толпе прозрачных фей.
На веках медяки, глаза его закрыты.
Петух – отец и сын небесного яйца –
Он кости всем ветрам вселенной подставляет,
Флюгарка на одной ноге, он, Слово-Бог,
Всю эту ночь времён я под его защитой,
И колыбель моя – где Рак и Козерог.

2.
Смерть – все метафоры в истории одной.
Младенец – искра в мир – встает, как стрелка лука,
(Планета-пеликан бежит своей стезей).
Зачат в аморфности, и от сосков оторван,
Он – в путь спешит, едва с ним распрощалась люлька,
И Абадон-смерть сам рисует флаг пиратов,
И пропасть – эти, к спальне, черные ступени,
И слышит звон Адам. И по костям – лопата.

А в полночь, возмужав, Иаков – лезет к звездам.
Рожденье, жизнь и смерть … «Ни волос не падёт…
(А это – только перья да венец терновый!)

…без воли божией». И голубь – дух святой…
Всё это – как трава стремится сквозь булыжник.
И в бурях вырастет болиголов лесной.

3.
Вначале был ягненок на дрожащих ножках.
Его весну и лето с осенью подряд,
Их отбодал у змея, влезшего на Еву,
Небесный Овен тот, Адам, вождь белых стад.

И я, урвав клочок положенной мне жизни,
Бодаюсь и разбойничаю тут, пока
Мне Рип ван Винкль позволил временно покинуть
То лоно, сморщенный грузовичок гробовщика.
Но черный овен, – прочь прогонит бабку-зиму,
Он, в стаде у себя единственный Живой…
«Настанет час садов, – сказали антиподы, –
И мы на лестнице Иакова звоним о
Всех странных выдумках свинцовой непогоды,
Двукратно прозвучавшею весной!»

4.
Какой просодией звучит простой словарь?
Каких размеров клетка та, что порождает
Всё в мире? И мужской иль женский род
У первоискры той, что жизни зачинает?
Я – эхо фараона? Я – без формы тень?
С вопросом пристающий к шепоту без слов я?
Или шестая часть двенадцати ветров я
И выдут ими был из распаленных тел?
Затянут ли корсет вкруг нового шпанёнка?
Он как бамбук – в глубинах щедрой плоти той,
Ведь мой верблюжий взгляд сквозь все пройдет иглой!
Любовь есть фотоснимок: ночь в пшеничном поле,
Любовь окружена кольцом прожекторов
И озаряет стены, где – отцы отцов…

5.
«Вей, вольный Вест!» Пришел с двустволкой Гавриил,
Он – козырной король – из рукава Иисуса,
Из запечатанной колоды козырнулся.
На византийский лад Адам в ночи вскочил.
Все карты розданы: она с червонным сердцем,
И пиковый валет, что с черным языком
Сосал себе из фляжки вечное спасенье…
Я раненый упал в каньон (игра в ковбоев),
Я из сосков волынок голод утолил,
Прилив чудовищный из Азии нахлынул.
Но Моби Дик меня за волосы схватил.
И пение сирен спасенье: их объятья –
Жизнь, ворохи цитат из многих Энеид…
К архангелу – Ахав, похожий на распятье,
Он, одноногий крест, с сиреной чёрной слит.

6.
Карикатура черт моих: вулканный кратер,
Вокруг него – вода, немолкнущий прибой,
И две свечи – глаза. Я в книге водяной
Пишу, прорвавшись сквозь моллюски гласных звуков,
На фитилях словес сжигаю сон морской,
«Ты, петушок, возьми мой глаз! – гласит Писанье –
Тот глаз от Грайи. «Да, а мой язык двойной
Прижми!» – сказало одноногое распятье,
Адам, тот джокер лет, что в терниях венца...
И успокоился тогда язык певца:
Сирены со свечи уже бинты сорвали,
(Все в ламинариях волынки их грудей!),
Мои же пальцы страшный знак нарисовали:
Пером на колдовском картоне семь морей.

7.
Молитву начертай на рисовом зерне:
Библейские листы в лесах всех слов на свете
Осыплются. Ведь песнь сирены – это ветер,
Древо познания и есть тот самый крест.
В корнях его и мысль, и все слова-уроды,
Свет-алфавит един для книг любых лесов.
Злой рок постигнет всех, кто слову крон не верит,
Настроит ветер-время музыку сосков,
Торчащих из грудей, громадных, как волынки:
Подходят времена молочных первослов,
И раны мне протрут сирены губкой этой,
Что приглушает боль и колокольный зов,
А голос времени для нищенских домов
Создаст людей, цветы и снег рукой поэта.

8.
... И – на холме распят. Там – нерв времён. Там Слово.
Там крови бурый след. Там оцет. Смерть висит.
Мария. Горе. Мир, заплаканный терново.
И алое пятно под тем ребром горит.
И эти три креста над женщиной склоненной.
Хожденье по гвоздям. И хвоя вместо слез.
И это мастерство, что менестрель бессонный,
Обычный человек, страдающий Христос,
С детьми небес пронес под радугой в три цвета.

За то – хирург всех слав – к злодеям был причтен
Я, жаждущую плоть снимавший со скелета.
Ползет улитка-мир, почти не пробужден.
Свидетель творчества и миросотворенья
Трубит. И бьют часы. И не умолкнет звон.

9.
Архив. Пергаменты. Засаленные строки.
Оплывшая свеча. Царица. Каллиграф,
Льняная ткань. Цари. Иероглифы. Пророки.
И ждут лубки сон бальзамирующих трав,
Бинтуют пеленой печатного листа,
Покрыв змеиный нимб хной мертвого Каира.
В пустыне я воскрес. Пускай твердят схоласты,
Что это только смерть глядит из-под бинта.

Под маской золотой нетленно вечен лен.
Засыпанный песком мир женственно-трехгранный.
И прах на фуриях женат. Пылают раны,
Вот так идут в набор и жрец и фараон.
Прах – древо жизни, и – обломки «Одиссеи».
Как реки мертвых – лавры у меня на шее...

10.
Ты, кормчий тех нравоучительных рассказов,
От лживой гавани подальше проведи
Потрепанный корабль, на временах качаясь,
Глаза бессонных птиц увидят впереди
Слова те, что трубой над морем прозвучали,
Мной сотворенный тёрн омелой оплетен.
Пусть первым спросит Петр над радужным причалом
Левиафана: «Кто сей мощный человек,
Что сад свой насадил над голубым каналом?»
Два вечных древа в нем. И в небо сад взойдет,
И зелен будет, как начало всех начал он
В день, когда змей создаст из злата и из зла
Одно гнездо моим твореньям милосердным
На грубой красноте древесного ствола.



КАРТА ЛЮБВИ

(1939)

45. ЕСЛИ ПРАВДА, ЧТО ОСЛЕПЛЕННАЯ ПТИЦА

Если правда, что ослепленная птица поет нежней,
Будет ли прекрасней полет слепого Пегаса?
Трапеза тупой толпы – это страдания птиц и зверей
Под ножами-вилками настроений, меняющихся от часа к часу.
В занюханном и выпавшем снеге года, на кончике языка,
Склеивающего слюной каморки месяцев кое-как,
Одинокий, околдованный человек (глаза – догорающие сучки),
Угнездился в пене наркотического потока нервности и жратвы,
Рад он, что его вылизывают и пронизывают времена
Сквозь мертвую рощу волос!
И когда мой дикий язык отрывается от породивших его могил,
Посмею ли я оглянуться на красный корень во рту?
(Пища? Похоть? Поэзия?) Неужели оглянуться у человека нет сил,
Если этажом выше из окна
Высунулась над нечестивым городом Лотова жена,
Чьи соки жизни, уже замедляясь, в статую ее превратят вот-вот.
А поэт, скованный ужасом, видит, как город страшен.
Так неужели я
          под ударами раскачивающейся раскаленной улицы
Не смогу оглянуться
На эти детские кривые рисунки, на уходящий год,
Рушащийся и сгорающий в паутине проводов, в хаосе башен?
Вот соляная баба,– посмела же оглянуться
На свой родной раскуроченный город среди пустыни.
Так неужели я убоюсь нарастить на скелет мясо притчи?
Я, человек стоящий прямо в искривлённом мире,
Над каменногрудым морем с его водяной пылью,
Над столом тайной вечери
Благодарственную молитву повторяю ныне.

46. ТАК ВОТ ОНО: *ОТСУТСТВИЕ ВРАЖДЕБНО*

Так вот оно – ***отсутствие враждебно:***
Ведь каждая старинная минута
Любви – на шее камень, или держит
На якоре в порту язык мой и
Соскальзывает с набережной булыжной,
Ну да, ее хвалы – неполноценны,
Ее желанье мачты и фонтана
Уходит в рукотворность океана,
Ветвистый ствол похвал минует волнолом,
И ввысь из-за колонн глядится дохлый дом...

Тот миг – он загнан в угол – миг желанья.
Сорняк он и никчёмное дыхание,
Отрепья, опий, лживый шаг вороний,
Зарифленные паруса, прибой
Без всякого прилива, вроде той
Злой девственности, взятой напрокат
У предков, миг тот, слабый, как ребенок,
Прилепленный магнитными ветрами
К слепой мамаше в городе беззубом
Дом хлеба и, быть может, молока...

Она глядит с невинностью крапивы
И с шелковистой той гордыней горлиц
В скалах, которым раковины девства
Как будто досаждали... Как в пещерке
Меж устриц – жемчуг, абрисы сирен
Сверкают в стянутых как бочки гротах,
Портреты всех ундин глядят со стен,
Дриада – дуб, заполненный стыдом,
И ложе, будто море под китом,
И бычий танец, золотой куст львов...
Гордыня девственности, обретенной вновь?
Желанья меньше, чем в зерне песка!
Старинные минуты, их тоска...?

Вот в чем противоречия ее:
Зверь топает как поп, и пять убийц
Есть каждая рука, а строй колонн,
На коих тлеет пламя, устремлен
Скульптуркой льда к толпе горящих птиц.
И все-таки желание холмом –

Приветствие, но в каменных шагах
Ее, в ее в молчании хромом
Таится тень ее удара в пах!

И я с ослиной челюстью иду
Пустыней мимо мертвых городов,
Бью воздух палкой бесполезных слов,
Громлю восход и в клочья рву закат,
Штурмую это сердце на ходу,
Пусть вены безголовые спешат,
Я ракушку пустой души вскрываю
И векам застегнуться позволяю.
Гром разрушенья вместе с криком птиц!
Перед той челюстью всё ляжет ниц,
Убийство – набежавшая волна –
Я вытянусь, чтобы смогла она

Смыть след разгрома... Вот меж волн плывет
Распятьем комната ошибок, вот
Все море – в стог! Тень от столба воды,
Вот пирамида надо мной, горды
На изумрудном полотне узоры,
И ветры остры. Голова моя
Лежит, лишенная легенд, в крови.
Самсон, и тот уж не спасет мой час,
В перчатках солнце – анатом любви –
Насаживает сердце на алмаз...

Ее язык не уследил за лоном,
Ребенок снова станет эмбрионом,
Так губы обнаженные кричали,
Канаты скручены, тень – капюшоном.
Тут якоря, тут долго пеленали
Меня, как мумию... «Где ж ящерка, чей яд
Выстреливает, чтоб загнать назад
На то столбнячное пустое ложе
За белую завесу смерть стихов? –
Бубнили маски, – видишь мертвецов?
Да, секса бесконечное кольцо
И душу завертело, и лицо».

Глаза прозрели. И ветра видений
Раздули дым. Бескожная рука –
Как дерево в клублении дымка,
Горящий Феникс обернулся стаей:
Щёлк выдранного зуба – барабан,

И хвост какой-то взвился, заметая
Следы птиц, улетавших в никуда,
А призрак провожал их, расцветая
Желаньем, жаждой нежного прощенья,
Ведь ужас отлетел и вместе с тенью!

Мой брат снял кожу. В облачной груди
Лежат леса спокойны и безмолвны,
От гордости любовь особободи!
И вот любовь идет без ран и молний.
Утих и ветер (а давно ль стволы
Как волосы горгон, вздымал он дыбом?).
Там где был снег когда-то, острым льдом
Любовь сосет и лижет бледный воздух,
Предвидя проявленья новых ссор,
В ее глазах гордыни новой вздор,
Но этот стих – ***присутствие целебно!***

ΔΔΔ

47. ПЯТЬ ДЕРЕВЕНСКИХ ЧУВСТВ

Пять деревенских чувств увидят все всегда:
Зеленая ладонь им не родня, – однако
Сквозь мусор мелких звезд глаз ногтя увидал,
Что горсть моя полна звездами зодиака,
А уши видят, как любовь под барабан
Уходит в дальний гул ракушечного пляжа.
Семь шкур с нее содрал морозец-хулиган,
И раны нежные не затянулись даже,

И все ж она жива: ее хранит туман,
Ведь ноздри видят, как зима проходит мимо,
И рысий мой язык несет всех гласных крик,
А выдох – пламя купины неопалимой,

Свидетель сердца есть! Хранит бессонно он
Пути любви (по ним – лишь ощупью стремятся!),
И даже если все пять глаз охватит сон,
То сердце чувственным не может не остаться!

48. ЛЕЖИМ НАД МОРЕМ

Над морем желтым и тяжелым
Мы на морском песке
Лежим и насмехаемся над теми,
Кто медленно плывет по зову вен,
Смеясь плывет по алой их реке:
Они выкапывают ямки слов,
И в слово тень цикады превращают...
Смертельна тяжесть моря и песков,
И надмогильный камень беспощаден.
Зов цвета к нам приходит с темным ветром
Желаньем ярким и тяжелым,
И тяжесть гравия подобна смерти,
И злое море кажется веселым.
Со всех сторон спит лунное молчанье,
И тени тихие, творя прилив,
Окутывают лунные каналы.
Творец прилива сух и молчалив,
Но он между пустыней и штормами
Излечит боль, рожденную водой,
В небесной музыке, звучащей над песками,
И монотонной, как покой.
Песок звучит печальной и тяжелой
Веселостью пустынных берегов,
А мы лежим на этой желтой, голой
Ничейной полосе – владении песков,
Следя за желтизной, желая чтобы ветер
Унес пески и утопил скалу,
Но как бесплодны пожеланья эти!
Не защититься от зовущей мглу
Багрово угрожающей скалы!
Лежим и наблюдаем желтизну,
Пока золотоносная погода
(О, кровь, еще играющая в сердце!)
Не уничтожит сердце и холмы ...

49. ЯЗЫКОМ ГРЕШНИКОВ, ЯЗЫКОМ ПРАХА

Языком грешников, языком праха к церквам колокол гонит,
Пока время с фонариком и с песочными часами,
Как поп, от которого серой несет,
На раздвоенных копытцах, торчащих из сандалий,
Горстью холодной золы поджигает придел, и в звоне
Горе выдергивает призрак из алтаря растрепанными руками,
И огненный ветер дует, пока свеча не помрет.

Когда над хоралом минуты слышится пение часа,
И водоворот вертит мельничные колеса молитвы,
И соленым горем замшелые склепы затапливает хорал,
И торопит миг лунопада император-солнце,
Бледный, как его же след на пене прибоя –
Слушай, как проваливается заведённый ключиком храм,
И как бьет корабельного тонущего колокола металл.

И темно, и гулко немое пламя в потонувшем храме.
Вихрятся снег и фонтан в фейерверковой крутени непогод,
И храм спокоен, и горе под колыхающимися свечами
С промокшей книгой в руках окрещает херувимские времена.
Изумрудным спокойствием колокол разбивает молчание:
Это из белых зимних протекающих страниц-парусов
Молитва флюгера, скрипящего птичьим голосом, слышна.

И так всегда. Этот белый младенец сквозь смуглое лето
Из купели костей и растений, под каменно ноющий набат
Появляется – и голубая стена призраков расступается,
И младенец – теперь уже празднично пёстро одетый,
Сбрасывая разодранный саван, выходит
Оттуда, где разбуженные колдовские насекомые
Дин-дон – из глубин умолкающих башен звенят.

Что же такое младенец? Это – и Стихотворенье, и Время.
Отлитый вечерним звоном нашей женитьбы шельмец,
Зачатый на пороге ночи в час тучных коров на звериной постели,
В священной комнате, на самом гребне волны.
И все грешники любви встают на колени перед явлением –
Ламинария, мускат и вербена,
                         к услугам жениха и невесты, принесших это горе –
Как все созидающие, оба они, творящие, обречены.

50. ДАЙТЕ МАСКУ

Дайте маску – скрыться от ваших соглядатаев ничтожных,
От фарфоровых этих зрачков, от очков-крючков,
Чтобы укрыть бунтарство за детской невинной рожицей,
Чтобы мой штык – язык – спрятать в келье под сводом нёба,
Чтобы звучали слова льстивой флейтой, извилистой ложью –
Только бы скрыть сверканье ума за приличием равнодушия
И обмануть, убедить в своей заурядности всех, лезущих в душу!
Так – с ресниц показное, вызванное белладонной, горе вдовцов
Прикрывает истинный яд
Тех, кто на самом деле глядит сухими глазами
На толпу хнычущих лицемеров,
На кривые усмешки, тщательно прикрываемые рукавами…

51. ШПИЛИ ЦЕРКВЕЙ

Шпиль церкви наклоняет голову: он – журавль колодца.
Но каменное гнездо стен не выпустит рукотворную птицу,
Чтоб журавль свой клюв о соленый гравий не притупил,
Чтобы не расплескал небесное болотце,
Не продырявил его
крыльями, на которых репьи,
и ногами, на которых ил...
Но тюрьму свою обманул звон, ворвавшись в поток времен,
Как дождь беззаконный, который бьет по облаченью вод.
Так пловцы преодолевают теченье,
Чтобы музыку выпустить из сомкнутого рта,
Чтобы из-под замка серебряным звучаньем,
Как щука с крючка, со шпиля срывались перо и нота.
Твой выбор – это журавль, склоненный над гладью болота!
Вернётся к колоколу звон, вернется к горлу песня,
Но только не тони в беззвучии немых ветров;
И время, данное в долг, не растрать напрасно.

52. ПОСЛЕ ПОХОРОН

После похорон похвалы – бесплоднее мулов, которые
Хлопают ушами, как паруса на ветру.
По новому столбику кладбищенского забора –
Самодовольный стук. Глаза притворно мокры,
И солоны рукава, а ресницы – как шторы...
Утренний чвяк лопат отчаяньем сотрясает
Мальчика, который перерезает себе глотку тем,
Что над тьмой могилы сыплет сухими листами
Стихов. Но разве что одну незаметную косточку
выведет он этим к спасенью, когда
Молоток Судии, и колокольчик Страшного Суда
Возвестят приговор.

После времени, начиненного чертополохом и слезами,
В комнате, где папоротник сухой да чучело лисы,
Я стою рядом с мертвой и сгорбленной Анной,
С памятью в лицемерные послепохоронные часы...
Ее скромное сердце обрушивало добро фонтанами,
Щедро лужами разливалось по всем мирам Уэллса...
(Конечно, тут – чудовищное преувеличенье:
Оно – за пределами любых похвалы,
Потому что умерла Анна, как высыхает тихая капля,
И никогда бы она не позволила мне из неведомой мглы
Погрузиться в ее глубочайшую душу, в ее святой
Поток: слава ее лежала бы незаметно и немо –
Ее изломанному телу не нужен был никакой
Друид) .

Но я, бард Анны,
с чуть приподнятого очага, – с алтаря
Зову служить ее добродетелям все моря,
Заменить своим рокотом ее деревянную речь,
Чтобы колоколом на бакене звенела сущность ее добра,
Над головами гнусавящих гимны, около смертной ямы,
Чтобы пригнулись папоротники – стены лисьих лесов,
Чтобы пела её любовь, раскачиваясь во всю ширь э-той ча-сов-
ни, ставшей лесным горделивым храмом.
Благослови же ее дух согбенный четырьмя птицами с четырех сторон!
Плоть ее была податлива, как молоко, и скульптура эта,
Головой до неба, с огромной грудью, вырезана из ее смерти.
В комнате у заплаканных дождями окон,
В этой яростно скорбящей комнате,

В этот мерзкий год ее застиранные, сведённые судорогой руки,
Ее потертый шепот – всё выходит в промокший мир,
(И весь ее разум, иссверленный до дыр).
Лицо мертво, сжато в кулачок: ибо боль вездесуща...
Статуя Анны – 70 каменных лет –
Мраморные руки погружены в облачные кущи –
Вот монументальный довод того, чего уже нет:
Голоса, резкого жеста, псалма хватающего и не отпускающего, пока
Даже чучело лисы не вздрогнет с криком: «Любовь – это она!»
И папоротники, подпирающие старой фермы бока
Не сбросят на подоконник свои черные семена.

ΔΔΔ

53. КОГДА-ТО ЭТОТ ЦВЕТ

Когда-то этот цвет был цветом обычных слов,
Они заливали с самой банальной стороны мой стол,
Потому что школа, привычно и скучно маячила в поле,
И все звучало, как положено в школе, – не более,
И, как на обычном фото, резвилась стайка девочек черно-белых…
Нет! Я обязан перекроить эти ландшафтики в оттенках пастели,
Ведь когда-то мы пацанами у пруда в два пальца свистели,
Кидаясь камушками в любовников на их травяных постелях,
И тени деревьев над ними казались словами,
смысл которых рассеян,
А лампа молнии была слишком резким словом для бедолаг,
Вот так же новый стих разделается с предыдущим стихом,
Чтоб каждый кинутый камень
Стал разматывающим налету смыслы клубком!

54. НЕТ, НЕ ОТ ГНЕВА

Нет, не от гнева, но едва остыв,
Отказ твой ниже пояса ударил
Обоих… Даже ниже… И поник
Цветок, зверек, лакающий из лужи
В опустошённом голодом краю…
Живот твой переполнен пустотой,
И я касаюсь этих тонких рук
Через просторы двух стихий остывших…

Провис квадратик неба за окном.
Над столкновеньем двух улыбок, в странный час,
Но вскочит в небо мячик золотой…
Нет, вовсе не от гнева из-за той
Секунды…
                Колоколом под водой
Отказ ударил… Хоть улыбка сможет
Звук губ поймать в зеркальной глуби глаз –
Детей не будет, и –
Стихов не будет тоже…

55. КАК СМОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ ЖИВОТНОЕ МОЕ

Как сможет выдержать животное мое,
Волшебные черты которого я только начал
Очерчивать в глубинах черепной пещеры –
Как вынесет оно
Обряд тех похорон под колдовской стеной,
Когда почти ожившая вуаль,
Почти прикрывшая его лицо,
Не в силах затенить взбесившуюся сущность:
Оно ж пьяней улитки в винограднике,
Оно ревет, размахивая щупальцами как спрут,
Ну что ему какая-то гроза,
Когда и весь небесный круг
Не в силах заслонить такие странные глаза?

Как привлечет оно неведомого жеребца,
который изгибается в сиянье
Зовущей полночи,
той, что расплавить может
хаос копыт и львиной головы,
Или колышащуюся подкову сердца?
Груба земля в прохладе сельских дней,
Чтоб с громким ржанием вдвоем
в мелькании стогов бежать по ней!
Рождение и труд, убийство и любовь –
Потом в жестоком и манящем свете
Бесплодная земля
Взорвется, голая, побегами весны,
А мрак разорванного моря
Возрадуется так,
Что потроха вновь станут горлицей (а может – черепахой?),
И когти искривлённых вен вдруг выдавят из каждой алой капли
От ярости иссохший голос?

Вот рыбаки – русалочьи мужья –
Всплывают с арфами под аккомпанемент басов прибоя,
Закидывают колдовские лески
(наживка-невеста из золотого хлеба),
А я – я сматываю в клубок пряжу, в которой плещутся и слух, и речь,
Брожу по храмам морских пещер, где тексты заклинаний – над костями.
Слежу распахнутыми глазами,
Как щупальце пытается, змеясь над спутанностью ран и сорняков,
Не отпустить мою живую ярость в небо,

Здесь удержать бесценную добычу –
Сдержать, сдержать бунтующую кровь:
Ведь только стих быть должен явленным на свет,
А уж никак не зверь,
                    который и моря, и дни на рог поднять бы мог!

Вздыхай, вздыхай, лежи недвижной глиной,
А рядом ножницы, что над Самсоном сонным
В лесу волос торжественно звенят:
(Попытки уничтожить силу – удвоенную силу возвратят!).
Венера мраморная меж колен, колонн –
Падет святыней, солнцем, выпотрошенной птицей,
А губы девы речь обрубят кораблекрушеньем напыщенных зрачков,
Куст яростный, где вместо перьев – пламя.
Умри же в перьях огненных, в пыланье
                                        изрезанного неба упади,
Катайся с оглушенною землей,
                              иссохший, обворованный мой зверь:
Вскочи на ржущий свет из тьмы пещер –
И пустота останется в груди.

ΔΔΔ

56. НА ГРУБОМ МОГИЛЬНОМ КАМНЕ

На грубом могильном камне
Я прочел ее две фамилии,
Под ними увидел и дату,
Когда она умерла,
Вот эта замужняя дева
В пробитой дождями деревне…
Это было как раз перед тем,
Когда я в материнской утробе
Мог услыхать впервые
Бормотание злых дождей
Над остывшим девичьим сердцем,
И увидеть в кривом зеркале
На лице зигзагами солнце,
Умиравшее вместе с ней,
Перед тем, как упасть ей в постель
Распустившимися волосами
На мужскую жесткую руку…

(Колокольных дождей язык
Отбивает время назад,
Сквозь отчаянье лет и смертей
В ту таинственную каморку,
Где младенец еще не возник!)

Мне потом мужики говорили:
Рыдала она о том,
Что, мол, руки обнажены,
И что так зацелованы губы –
До черноты запеклись,
И рыдала она – будто в родах, –
И корчилась в муках судорог,
И простыни раздирала,
Но из глаз вырывалась радость…

Так вот я в торопливом фильме
Видел встречу обезумевшей бабы
Со смертью на брачном ложе
Через тень рубежа родового,
Перепутанного с зачатьем,
Слышал каменные слова
Серой птицы с оббитым клювом,

Стерегущей ее могилу:
«Я спиной чуть коснулась постели,
Вся моя утроба взревела,
Я почувствовала в паденье,
Как меня пополам разрывала
Грубая голова...»

ΔΔΔ

57. ТРИ ТОЩИХ МЕСЯЦА

Три тощих месяца
в большом кошельке моего тела, в проклятом
Брюхе этого года, в его богатом самодовольстве!
С горечью я тащу на проверку
мою нищету и мое ремесло:

Взять, дать – и всё?
Вернуть то, что было жадно дано, и в никуда унесло?
Вдувать фунты манны
росой назад в небо?
Да где там – работа слов!
Дар болтовни надеть на слепую палку языка –
получится помело...
Подобрать или нет что-то из сокровищ людских –
удовольствие лишь для смерти: в конце концов
Она-то сгребет все валюты любого дыхания любых творцов,
И вслепую, в дурной тьме
Утерянные тайны кое-как сумеет пересчитать.

Сдаться после этих трех месяцев?
Кто взял чужие мысли, тот заплатит молоху дважды!
Нет! Друиды в чащобе крови моей да будут затоплены
только моим собственным морем,
Если с неба взяв этот мир, спалю я его впустую!
Ибо долг мой – создать и обратно небу отдать.

58. СВЯТОЙ, КОТОРЫЙ, КАЖЕТСЯ, ВОТ-ВОТ

Святой, который, кажется, вот-вот
Как Люцифер или Адам, падет –
Когда все разноцветные равнины рая
Разрушены рожденьем:
Рожденье – есть изгнанье! Рай, прощай!
И всякий, кто рожден, взлетает на последней той волне,
Целуя призрачной одежды край
Своим воздушным змеям.
И песнь скалы, как будто песнь стены
Жилья отцовского, там на песке времен
Раскручена... Все глохнет от нее –
И колокольный звон,
И голосок шкатулки музыкальной,
Что был не заведён – а заменён
Шуршащим кашлем роковых песочных
Часов, подсчитывающих, как пробегает кровь,
Часов, явившихся на лике циферблата, который вдруг
Сложился из бегущих стрелок рук –
Рук ангела, возникшего на Этне
Последним прошумевшим изверженьем в земле отцов:
Шар огненный с дырой посередине –
Вулкан – верхушка стога. И колодцы
Полны вином.
Голодный гимн небес,
Шурша сандалий мощными крылами,
Поет Гермес.
И пламенея, с ним «поет сонм херувим»:
Разрезан хлеб христовой евхаристии!
И в лабиринтах пламенных завистлива
Речь ракушек над самым дном пустым.

Что слава? Лопается как блоха.
И солнцелистые свечные сосны
Вдруг съерундились все в один спаленный крест
С огрызками бутонов обгорелых,
А корабли на рыбьих плавниках,
Те корабли, что нам приносят кровь,
Плывут по разбегающимся волнам.
С новорождённым вместе выпадает небо,
И пьяный колокол бьет в воздухе без слов!
Будись во мне, в моем нависшем доме,
Над грязной раной этого залива,

Между кричаще-красных берегов.
Мой дом, ты выхвачен из суетни,
Из городской карболовой постели.
Твердь вечная развернута над нами,
С возвышенными белыми корнями
Глядит меж облаков в распахнутый мой дом,
И молоко уже во рту твоем.
Взгляни на этот череп – шар земной
В колючей проволоке всех волос горящих,
В огне мозгов, расплавленных войной!

Сбрось бомбу времени на рай, на город.
Стропила – выше! Вырастай из рая,
Свой смутный страх камнями завали,
Страх перед тьмой убежища былого,
Где скручен ты меж иродов вопящих,
Когда клинки их рядом маршируют,
А взгляд убийственен… И сердцу снова
Приходится пружину заводить:
Страданью нужно новый рот кормить.
Проснись в миг благородного падения,
Не замечая грязного явления цыплят…
Стекает горе с губки сморщенного лба.
Дыханье придержав, железно, как судьба,
Ты, незнакомец, входишь в наше иродово время,
Кричи же радостно: колдунья-акушерка
Тебя вытягивает в море грубой жизни
И пальцем вверх показывает – «Во!!!»
А солнце гулкую арену сотворит
Из окруженного, стесненного пока
Руками женственными островка
Для будущих коррид.

59. ЕСЛИ БОЛЬ ПРИЧИНИТ

«Если боль причинит моя голова твоим ляжкам,
Затолкай обратно того, кто стремится вниз! Ну смотри:
Ведь шарик моего дыханья еще не взорвался,
Он столкнётся с лиловой мордашкой –
И пойдут пузыри!
Лучше вывалюсь я с червяком веревок вокруг горла,
Но эту сцену я не помешаю актерам доиграть!

Да, для петушьего боя сгодятся игривые фразы зверька,
Я пройду сквозь леса, полные ловушек, затеняя лампу перчаткой,
Буду в утиные часы дня танцевать и клеваться,
И прежде, чем припадая к земле я выгоню призрака,
В гулкой комнате стукни меня слегка ...

Если жестоким тебе покажется мое мартышечье появленье,
Отправь меня обратно в сотворивший меня дом,
Моя рука уже нащупывает выход из глубины твоей,
Кровать – место принятия креста, который буду всю жизнь я нести,
А чтоб пролететь девять месяцев из глубин и до самых дверей –
Сделай в пустыне прямыми мои пути».

– Нет, нет, ни на сияющее ложе самого Христа,
Ни на перламутровый сон в чем-нибудь мягком и колдовском
Не променяю я слезы мои – пусть железная у тебя голова,
Но толкай, дочь или сын, толкай: ведь обратного хода нет,
А громоздкие ливни с небес льют и ночью и днем.

Вот проснусь, и движенья ослабнут, и радостно вздохнет пещера,
Где рос ребенок, которому от грядущих бед век свободы не знать,
О моя потерянная любовь, изгнанная из меня какими-то вышибалами!
У зерна, спешащего своим путем от края мокрой могилы,
Есть и голос, и дом – есть где плакать и где лежать.

Оставайся! Нет иного выбора для горстки праха.
Оставайся у груди, полной молочными морями,
живи, сколько положено лет,
Все равно ни волнами жирных улиц, ни скелетными худыми путями
В ту могилу, из которой ты вышел,
Возврата в мое спокойное тело нет.
И начало чудес бесконечных откроет тебе этот свет!

60. СЛЕЗЫ У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ

Слезы у меня на глазах напоминают мои двадцать четыре года.
(Похорони мертвецов
 из страха, что сами пойдут к могиле в трудах и родах!)
На выходе из рождения в мир, на том самом пороге
Я сижу, как портной ссутулясь, и свесив ноги,
И старательно шью себе саван для долгой дороги
При свете плотоядного солнца, кровавое мясо жрущего,
В смертной одежде,
 начинаю свой чувственный путь
 вдоль всего сущего,
Мои алые вены полны самой ценной в мире валютой валют,
Но к тому неизбежному поселенью, куда все идут,
Я двигаюсь столько времени, сколько длится мое «навсегда».



НА ПОРОГАХ СМЕРТЕЙ

(1946)

61. СЛИЯНИЕ МОЛИТВ

Две молитвы, которые должны прозвучать вот-вот –
Из уст ребенка, идущего спать, и из уст мужчины,
По лестнице поднимающегося к умирающей любимой.
Первому все равно, где окажется он во сне,
А второй в слезах по ступенькам идет.

Две молитвы во тьме вознесутся с зеленой земли,
В ожиданье ответа, обращенные к небу молитвы:
Человека на лестнице и ребенка возле кровати,
Молитвы о мирном сне и об умирающей любви,
Молитвы, которые вот-вот должны прозвучать, – и

Сольются, сплетутся в одну взлетающую к небу печаль.
Так заснет ли спокойно ребенок и зарыдает ли этот
Мужчина? Но слиянье в одно двух молитв,
что вот-вот должны прозвучать,
Живое с мертвым сплетет,
и человек, идущий по лестнице,
Увидит любимую в комнате наверху
не умирающей, а живой и согретой

Его заботой, силой его тепла.
А ребенок, который и не думает, до кого долетит молитва, –
Медленно утонет в печали, глубокой как могила,
И темная волна, пролетев по сонным глазам,
Втянет его вверх по ступенькам к той, которая умерла...

62. НИКОГДА ЕЩЕ ПРЕДВЕЧНАЯ ТЬМА

Никогда еще предвечная тьма,
Что ставит на место всех нас,
Птиц, людей, зверей и цветы,
Не могла сказать ни о ком
Таким пламенным языком,
Как тогда, когда вышел спокойный час
Из моря, шевелящегося в упряжи темноты.

Надо снова войти в Сион
Круглой водяной капли, или
В синагогу зерен кукурузного початка.
Должен ли я позволить, да и для чего,
Чтобы тени звуков сами Его молили,
И на саване самая мелкая складка
Стала почвой для соленого зерна моего?

Чтоб оплакать детской смерти величие и горенье,
Страшную правду я не хочу у людей отнять,
И еще одной элегией о невинной юности
Кощунствовать в то мгновенье,
Когда кто-то остановится подышать!

Вместе с первым на земле убитым,
В длинную дружбу одета
Дочь Лондона лежит и...
              Возраста не знает зерно!
Никого не оплачет Темза. (О, темная вена, улица эта!)
После самой первой смерти
                Быть другим смертям – не дано.

63. СТИХИ В ОКТЯБРЕ

Земную жизнь пройдя до тридцати,
Я проснулся от голосов
Гавани и соседних лесов:
На темных камнях в лужицах отлива радостно толпились
Мидии. Цапля славила берег. Утро меня позвало
Молитвой воды, криками чаек, скрипом грачей,
Ударами лодок о повитую паутиной стенку причала,
И повелело
Отправиться
В спящий и предрассветный город.

Мой день рожденья начался с того, что водяные птицы
И окрыленные деревья
Над фермами и над головами
Белых пасущихся лошадей
Пронесли мое имя на крыльях,
И я проснулся, и встал в дождливую осень, и вышел,
Чтобы сквозь ливни всех моих дней
Идти.
И был прилив, и ныряла цапля. И был – я.
Я ушел, а город проснулся, тут же ворота закрыл,
И не стало обратного пути.

Катящиеся облака были жаворонками набиты,
И свистящими дроздами полны придорожные кусты,
И октябрьское солнце
Наполнено летом, паутинкой повито
На плече холма, где певчие ветры
Наперебой с крылатыми певцами
Врывались в утро...
А я себе брел и слушал
Холод ветра, выжимавшего дождик из пустоты
Далеко внизу над лесами.

Бледнел дождь над удалявшимся,
Уменьшавшимся портом.
У моря – мокрая церковка, с улитку величиной,
Из тумана торчали рожки ее – и замок,
Коричневый как сова, едва ли не черный.
И сады расцветали в летней сказке,
За городской стеной.
И без конца мог бы я удивляться чуду

Своего дня рождения,
Под катящимся облаком, жаворонками набитым,
Но погода решила поссориться со мной.

Она отвернулась от блаженной страны,
Явился иной воздух,
Иное небо,
Но опять голубое летнее чудо нахлынуло с вышины
С яблоками, грушами, смородиной,
И я увидел ребенка, которого давно уже не было
И нет,
Бредущего с матерью в глубину позабытых дней
Сквозь разговорчивый солнечный свет,
Через легенды зеленых церквей,

Сквозь пере-пересказанные бормотанья детства.
Его слезы обжигали мне щеки,
Его сердце билось во мне.
И был лес, и были река и море, а к мальчонке
Множеством лиц
Старалось прислушаться, приглядеться
Лето мертвых,
Когда радостные истины шептал он
Деревьям, камням, рыбам и крабам на морском дне.
Это живое чудо
Звучало, журчало
Голосом воды и разноголосицей птиц.

Без конца
Я мог бы удивляться чуду моего дня рождения,
Под облаком, жаворонками переполненным,
Но погода
Отвернулась от меня разом.
А настоящая радость
Давно умершего ребенка пела
И разгоралось на солнце пенье:
Вот он, мой тридцатый год.
Он стоял тут в солнечный июльский полдень,
Когда город внизу лежал,
окровавленный листвой осенней…
Так пускай же правда сердца на этом холме
В мелькании лет поёт!

64. ПРАВДУ ЖИЗНИ С ИНОЙ СТОРОНЫ

Правду жизни с иной стороны
Ты не сможешь, мой сын, увидать,
Ты, король своих синих глаз,
В ослепленье так молоды сны:
Все что было – возникнет опять
В прежнем месте и в прежний час.

Все вернется к истоку вновь –
Разве кто возразит в небесах? –
Хоть невинностью, хоть виной –
Изо всех твоих дел и слов –
Как живое вернется в прах –
Так исчезнет поступок любой.

Два пути – путь добра или зла,
Оба к смерти тебя приведут
По размалывающим морям,
Ведь путей только два, только два –
Отлетишь, словно тучки вздохнут
По слепым убегающим дням,
Сквозь тебя или сквозь меня,
И сквозь души иных людей,
В смерть виновную, в смерть без вины…
Ты, король прожитого дня,
Отлетишь от жизни своей,
Словно звездная кровь с вышины.

Слезы солнца, и мелкий хлам,
И летучих песен огонь…
Ты король своих детских лет,
Но как тень твоя, пало к ногам
То желанье, что стало грехом,
И начала которому – нет,
Потому что в начале начал
У корней мирозданья найдешь
Все слова и поступки свои,
Потому что, судьбы не ища,
Умирают и правда, и ложь
В никого не винящей любви.

65. НЕ ТАКИМ, КАК ТЫ

Враг в облике друга! С глазом, на котором медно
Поблескивает тусклый фальшивый пятак,
Приятель-предатель, ты, который с видом победным
Враньё обо мне зажал в кулак,
Ты, охочий все время смотреть и
Ловить мои самые мелкие секреты,
Ты, соблазненный перемигиваньем взглядов,
Еще когда я – пешком под стол,
С соской во рту – ну что тебе было надо,
Что уж такое ты стоящее тогда нашел?

Я еще не сорвался с цепи безусловно,
Так чего ты хотел от меня тогда,
Когда до моего сладкоежества любовного
Еще оставались года и года?
Вот я – фокусником из шляпы с полями –
Вытаскиваю наподобие кролика или рыбки,
Торчащую в памяти, слепленной зеркалами,
Твою воровскую рожу, со скошенными от вранья глазами,
В процессе фабрикованья умильной улыбки,
С укрытыми в бархатные перчатки руками,
И знаю, что сердце мое целиком
Распластано под твоим молотком, –
Ты так был искренен, так весело щебетал,
А я и слова вымолвить не решался,
Когда ты правду слегка сдвигал,
А меня убеждал, что я ошибался...
                                        Друзья, не раз вы меня надули,
Но я вас любил даже в ваших грешках,
Ну что я мог видеть,
            когда перед глазами были только ваши ходули,
А башку – так и вовсе не разглядеть в облаках?!

66. ЛЮБОВЬ В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ

Незнакомка пришла поселиться
Со мной в комнате, которая в доме,
В котором у всех съехала крыша.
Эта девочка тоже безумна, но безумна как птица.

Дверь мою оперённой рукой запирая,
В лабиринте кровати она, тонкая и прямая,
Надувает весь этот дом, намертво отделенный от рая,

В него облака впуская,
Каждый шаг ее морочит полную кошмаров палату.
Все заперты. Свободнее мертвецов она одна,

Оседлывает волны всех океанов: и вот волна
Плещет в воображении всех мужских палат,
И в этом бедламе она,

Командуя подскакивающими стена̀ми,
Впускает призрачный свет,
Одержимая небесами, жаждущими молчанья,

И спит, и бредит, и бродит по праху,
Своевольно роняя невнятные заклинанья
На доски пола, истоптанного моими слезами,

Ходящими из угла в угол вместе со мной.
И вот, захваченный светом, в конце концов, –
О, как нескоро, да и какой ценой! –

Я проникаю туда,
Где увижу и проживу тот миг, когда
Зажжется первым светом первая на свете
Звезда…

67. НЕТ, НЕ ВЕЗЕТ ЕЙ, СМЕРТИ

Нет, не везет ей, смерти, ждущей феникса
У погребального костра, в котором
Еще сожгут мои грехи и дни.
Вот женщина. Наверное, святая.
Пусть даже вырезанная из камня,
Но чувственная. И пока – в тени.
Меж унесенных ветром,
Мертвых и пропавших, она
Извечной сущности моей присуждена...
Пусть не было журчанья поцелуя,
Да и скандала не было, и даже
Ни пламя лба, ни холод глиняного рта,
Не сохранили оттиска того, что...
Но постоянство и поломанные крылья
Ее любовь навечно, может быть, привяжут
К аркаде дворика, к высоким хорам . (Это –
Женский монастырь ордена святой Похоти!),
Это – фундамент моей жизни,
Только и ждущей соблазна
В тяжелых солнечных ударах лета...

Любить на этом море,
Переполненном виной как волной!
Мое священное удачливое тело
Изловлено под облаком любви,
Его поймали и его целуют
На мельнице сгустившегося дня.
(Вся глупая наивность наша сжалась до размеров
Какой-нибудь звезды простой,
Мерцающей в числе монахинь ордена Целомудрия!).
Да, в каждом молнийном взгляде твоем –
Проблескивает весть о том,
Что некий бог свершает ритуал
Причастия души к безвестным солнцам.
Но суть моя в тени глухой
О святости никак не запоет,
Пока молитвами окутывая плоть
Твою – не изгоню я птицу-смерть:
Она связует нас и нас же разделяет.

Я вижу – зверь в слезах в двуполой тьме…
Все полосатое полуденное племя
Несет свои запутанные гривы
Туда, где гибель ждет.
Ослица же вынашивает минотавров.
И утконос в молочной туче птиц –
Подобие монашенки святой,
Той, вырезанной из дерева или из камня,
Той, что пока в тени…
Вот символ моего желанья –
Превыше времени и всяческой вины:
Огромная, горящая промежность.
Да жаль, над ней –
Невероятной силы воздержанье…
Но я увижу феникса – герольда
И крикуна небес – пока он не сгорел!
Он – весь пучок страстей. Пучок несчетных стрел.
Отказ от островов! (любовник ведь – не остров)
А вся любовь – совместное цветение
Двух плотей. И она
Или чудовищна, или бессмертна.
И если то цветенье не совместно,
То дочь ее осуждена.

Моя судьба удачна.
Она без всяких слов упорно учит
Что фениксово устремленье к небу
И всякое желанье после смерти
Не преуспеют, если я
Не испрошу благословения твоего
В том каменном монастыре желаний,
И не пройдусь там в царствии прохлады,
В том, где квадратом замкнутым – аркады,
Которые как небо рядом
С бессмертием Христа,
С твоим цветущим, то есть смертным, садом…
Язык твоих переводящих глаз
Поведал мне, и звезды подтвердили
(Начало всех начал – младенчество Христа!)
Тебе – раскинувшись и терпеливо
Лежать – чтоб из-под сводов эта птица
Взлетев, могла на миг остановиться…
О, истинность любви, сдержи меня,
Чтоб в каждом взгляде шар генезиса вращался…

Так и земля твоя, и сыновья.

68. ГОРБУН В ПАРКЕ

Одинокий горбун в парке
Устраивается между деревьями и прудом,
Как только ворота откроют,
Чтобы впустить деревья и воду вместе с родившимся днем,
И сидит –
Пока мрачный колокол не позовет его
Сумеречной порою.

У пруда, где когда-то кораблики я пускал,
Он хлеб на газетке ел,
Из-под фонтанчика пил
Из кружки, посаженной на цепочку,
Из кружки, в которой дети лепили куличи из песка,
А ночами он в собачьей конуре спал,
Но его никто не держал на цепи.

Как птицы, в парке появлялся он спозаранку,
Как вода в пруду, был спокоен и невозмутим.
«Эй ты, мистер!» –
Кричали ему городские мальчишки
И удирали,
Как только он лицо поворачивал к ним.

И горбатых изображали, и бежали
Сквозь кричащий зверинец ив у пруда,
Мимо искусственных скал,
А он, грозя им, своей газеткою потрясал,
Но они боялись только сторожа с палкой,
На которую палые листья тот натыкал…

Старый сонный пес,
Между няньками и лебедями,
Так одинок бывал он, когда
От матросок ивняк синел,
Прыгали тигры из глаз у мальчишек и рычали
На каменистых горках у паркового пруда.

Весь день до сумеречного колокола
Идеальную женскую фигуру
Из своих старых, кривых костей он творил,
Чтобы в час ночной
Стройная и высокая, как тополь,

На аллее она осталась, одинокая,
После того, как за решеткой останется парк цепной.
И всю ночь в неприбранном парке,
После того как закрывалась решетка,
И птицы, и озеро, и трава, и кусты,
И мальчишки, которые дики,
как невинные ягоды земляники,
Всё и все были с ним, с горбуном,
В его конуре, преисполненной темноты.

ΔΔΔ

69. ПОЛОЖИВ ГОЛОВУ

1.
Лишь только голова ее к подушке –
Как вдруг в постель раскрытую нырнула
Вражда к нему
Через волнистый барабан
Запрятанного в волосы чувствительного ушка...
И вспыхнул феникс, руша ласковую тьму...
(Не феникс, а недобрый голубь Ноя,
Не ветвь масличную, а человека притащил он!...)
И вот в насилующих волнах прошлой ночи
Киты разнузданные всплыли из глубин
(Или из той, людей рождающей, могилы?).
Фонтаны их шумели об отказе...
Где там влюбленность! Кто же проскользнул
В невинное воображенье?
Лир в юности? Жуан воспламененный?
Кто он, нависший над
Царицей Катериной? Да, над той,
Взвывающей бесстыдной наготой?
Кто? Утонувший в волосах своих Самсон,
Огромный, как молчащая интимность
Тех незнакомцев, тех теней? Кто он,
Над лестницей нависший и над ней?
Как лезвие, как буйное дыханье,
Не уместившееся в теле,
А косы рук его метались и свистели
До утреннего крика петуха, не...
Подобен целой Англии в огне...
(Она ж по ней бродила весь свой сон,
И остров, возбуждающий любовь,
Сковал ей ноги блеском заклинанья...)
Спи сном невинности
                                        под фиговым листком,
Изласканное и воспетое созданье!
Сбежавшая, представшая младенцем
На простыне песка, усыпанного желудями.

2.
Там, где язык без всякого предела
Наполнил комнату мужским рычащим воем,
А темнота развесила над ней

Корзинки змей,
Ей виделись не ноги, а колонны,
Не ноздри – два камина над лицом –
Напоминали чувствам притупленным
О воре подростковости, который
Ей полуснился в уходящем детстве –
Любовник океанского размера...
Нет, ревность позабыть его не может
Ни ради... Ревность жестко постелила
В ее ночи, когда-то мягкой, мягкой...
И насладилась ревность, а не он!
И в белом, с залитых луной подмостков
К амфитеатру, слыша плач прибоя,
Сбегала, плакала о краже сердца
Из тела... Из того, что брали, брали,
Кому не лень, без всякого предела,
И вот теперь разбойник и невеста
Тут празднуют подписанную кровью
Агрессию... И браки те, в которых
Достойной роли он сыграть не мог...
Удар по гордости: как разделить с ней
Ее святые грешные часы,
С химерой, с чудищем, крылами бьющим,
Бормочущим в припадке торжества?

3.

Две песчинки в одной постели,
Голова к голове, кружащей
В небе сны... А берег огромен,
Хоть и видится еле-еле.
Море скроет ночи падение.
Купол каждой ракушки глухо
Повторяет смертельность бабью
И мужское злое хотенье.
Позолота дня растворится
Под вуалью воды в закате.
Птичке хрупкой, ну как ей спокойно
Под крылом любовника спится!
Память завтрашнего полета
Поет коршуну об Эдеме
И о падали жирной щебечет,
И еще напевает что-то...
Так вот камень в холме затерян,
Так травинка мечтает вместе
С полем... Жаворонки – на воле.

И открыто воздуху тело.
И лежит она, так спокойна
В тайном этом инцесте (как с братом!),
Чтобы увековечить звезды,
Так невинна меж двумя войнами!
Да и он этой ночью бессонной,
Он все прежние призраки гонит,
И вражда в забытых глубинах
Своих мертвецов хоронит.

ΔΔΔ

70. БУМАГА И ПАЛОЧКИ

Бумага и палочки. Лопата и спичка.
Почему все новости, ставшие привычкой,
Не вспыхнут и душу мою не зажгут?

Был у меня дружок богатый когда-то,
И тело его любила я и то, что он – богатый.
Я жила в кошельке его и в сердце. Вот тут!

В постели я вертелась между ним и простынями,
Наблюдая за карими горящими глазами
Сквозь бумажку зеленую, ту, которая – фунт.

И до сих пор, чистя хозяйский камин, –
«Никогда, дорогой,   – говорю я с ним, –
Не поздно забрать меня, ты ж обещал… а тут…»

Был бы у меня красивый и богатый,
Были бы деньги, – убежали бы куда-то
За радостью… С ребенком. (И ложечка во рту!)».

Глупым и пронзительным своим языком
«Ни ты, ни он» – царапаю я в воздухе пустом,
Пока пламя, вспыхнув, не опалит пустоту…

71. НА ПОРОГАХ СМЕРТЕЙ

И вот – летящий в пожары канун
Смертей, одна за другой!
Когда один – из отвеку твоих -
Должен покинуть всё,
Дыханье львиное оборвать,
Угасить сиянье огней,
Тот из твоих бессмертных друзей,
Который будил голоса
Всех улетевших, сосчитанных душ,
Что – ракетами в небеса,
Он, тот, чей голос из бездны воззвав,
Последним эхом звучит,
Он в согласии со стихом
Дыхание затаит,
Но не утопит и не заглушит
Голоса вопиющих ран,
Обвенчанных с лондонцами, что теперь
На одиночество обречены.

Вот – летящий в пожары канун,
Когда из твоих губ,
Когда из клавиш и из ключей,
Решающих судьбы нот,
Убитые незнакомцы в твои
Темы пикируют и...
Некий безвестный чужой, но твой
По полярной звезде сосед,
Сын улицы, незнакомой тебе,
Спикирует в слезный бред,
Нырнет в океан кровавых дождей,
Что бьют по твоим мертвецам.
Ты, поэт, заведи одним из ключей
Весь глобус Лондонских слез,
И в глотки раковин затолкай
Все плачи по всем временам,
Сверкающие в твоих глазах
Молниями веков.

Это – летящий в пожары канун –
(Бесконечны пороги смертей!).
Когда самый близкий и самый чужой
На лондонской волне

Ищет единственную, твою
Могилу (то есть свою!).
Один из многих твоих врагов,
Кто знает, что сердце твое
Льет вечный неугасимый свет,
Сквозь светомаскировку во тьму
Нацелит он точной бомбы удар
По светящемуся твоему
Сердцу, чтобы его угасить.
Чтоб – сквозь кирпичи и бетон,
Чтоб точно спикировать и оседлать
Черных клавишей стон!
Да, этот мечущий молнии враг,
Это сразу и ты, и он,
И с неизбежностью сам, как Самсон,
Угасишь свой зодиак!

ΔΔΔ

72. СКАЗКА ЗИМЫ

Вот она сказка зимы:
С фермы, что в чаше долины, мрачными полями,
Через озера слепые сумерки эту сказку переправляли,
Она скользила украдкой без ветра под незримыми парусами,
Сквозь прозрачное дыханье скота,
Отталкивая снежинки тьмы,

Сквозь звезды, что падали с холодной тоской,
Сквозь запахи сена,
Сквозь крик далекой совы в складках снега,
Сквозь промерзшую овечью шкуру белого дыма
    из трубы дома,
Дыма, плывшего по долинам, окаймленным рекой,

Над которой была рассказана эта сказка. Она так проста!
Однажды, когда мир стал стар,
На звезде, где, как медленный хлеб, вера чиста,
Как пища и пламенный снег, один человек
Свиток пламени, тлевшего в сердце, размотал.

Одинокий, израненный человек в деревенском доме у края
Полей. И пылая
На своем острове, в круге каминного света,
Где вокруг – только стены крылатого снега,
А за ними, как шерсть, холмы навоза белы,

Где куры до середины дня
Знобко спят на насесте, пока петушиный выкрик огня
Не прочешет укутанные дворы.
И вот уже люди из мглы
Ранние, утренние, проковыляют с лопатами. Зашевелится скот,
Осторожной походкой на охоту выступит кот,

Встрепенутся
Хищные птицы в пушистом зимнем оперении,
Молочницы мягко пройдут башмаками по упавшему небу,
И ферма проснется, приступит к своим делам в сумраке снега…
А он, в танцующей тени, перед ломтем хлеба

И чашкой молока
Стоял на коленях, рыдал, молился,
Возле черного вертела и закопченного котелка

В ярком свете древесного огня,
В доме, укутанном снегом, в глубокой ночи, не помнящей дня.

Он, готовый к любви, но покинутый в голых годах,
Стоял на коленях, на этих холодных камнях,
Рыдал на вершине горя, молился небу, затянутому и белому,
И неутоленность его стонала в белых костях,
И через недвижные статуи лошадей в конюшнях летела

За стеклянный утиный пруд,
За ослепительные коровники... Может, тут
Одиночество неутолённое наконец долетит
В дом костров и молитв?

Оно крадется по облакам любви, ослеплённой
Снегом, и устремляется в белые овечьи загоны,
И нагое «необходимо»
Вдруг ударит его, стонущего склоненно,
Но никакой звук не пройдет через слепленный воздух,
Только ветер натянет струну в темноте морозной,
Птичий голод слегка прошуршит в кукурузе сонной,
И – мимо, мимо...

Безымянная жажда шаг за шагом
Скрутит его, пылающего, потерянного, леденеющего как снег,
А нужно, нужно бежать по извивам долин, по оврагам
Между впадающих в ночь рек,
И он тонет в сугробах жажды, пока, наконец, усталые ноги не лягут...

Он свернется ничком в набитом желаниями центре белой
Страсти, в поисках брачной постели,
В поисках нечеловеческой колыбели этой,
Не теряя веру, но утопая в снегах, нагроможденных кругом,
Будто бы выброшенный из Света.

Заблудившись в глубинах любви душой измятой,
Он молился об избавлении от жажды, чтобы ослаб его страх,
Чтоб забылась его невеста,
Его всепоглощающая нужда, – та,
Которая разрастается бесконечно в белосемянных полях,
Отставая от времени, безудержно скачущего куда-то.

Слушай, как поют менестрели в ушедших навек деревнях!
Соловей среди тьмы,
Мертвый в захоронённом лесу, на жилистых крыльях пока

Еще кружит и пишет по мертвому воздуху сказку зимы
Голосом бывшей воды из пересохшего родника.

Еще звучит и скачет, чудом сохранив душу,
В колокольном лае камней этот бывший ручей,
Словно роса звенит на шершавой и ломкой листве,
На бескрайной паперти снега,
а вырезанные ветром рты камней
Превратились в оголенные струны. Слушай:

Время поёт. Поёт тут и теперь
Над замысловатым круженьем клубящегося снега.
Рука или голос
В минувшую страну распахнули темную дверь,
И пылающей невестой пробудилась, встала
Птица-женщина над землей, над хлебом,
И на груди ее белое и алое засверкало!

Гляди. Танцоры! Вот:
На зелени, заваленной снегом, но все же буйствующей в лунном свете.
(Или это прах голубей?
Вызывающее ликованье коней,
Которые подкованы смертью и топают по этим
Белым выгулам фермы?)
Мертвый кентавр лежит,
А мертвый дуб за любовью спешит.

Руки и ноги, вырезанные в камне,
Вскакивают, словно по зову трубы. Странная
Каллиграфия старой листвы пляшет устало,
Возрастные круги на пнях свиваются в покрывало,
Голос бывшей воды щиплет струны арфы в складках полей.
И встает для любви женщина-птица далеких дней:

Мягкий перистый голос
Летает по дому, будто женщина-птица стала молиться,
Распахнув дикие крылья над головой,
И стихии медленной осени счастливы все до одной,
Что вот стоит человек на коленях один в чаше долин,
И так спокоен под снежным покровом
У закопчённого чайника в свете пылающих дров он.

Птичье небо перистым голосом заклинает
И летит он – полет его воспламеняет –
Над безветренной фермой летит за слепые коровники и сараи…

А на изгородях черные птицы –
Как мертвые священники, укутанные в сутаны,
Над белыми ризами земли холмы из невнятной дали
Подплывали к дубам в снежных султанах
И через сугробы зарослей лосино-рогатых перелетали.

Дрожит одинокий листок – пугало снега.
Лохмотья спадают, молитвы катятся по склону холма,
На окоченелых болотах их останавливает зима,
И за пробуждением бредут через край неба
Птицы-женщины, сквозь белые времена,
Сквозь летучие племена

Медленных снежинок.
Слушай, смотри!
Вот она плывет по морю, ощипанному гусями,
Небо, птица, невеста, облако, жажда, звезда,
Кем-то посаженная на радость, за полями, за временами,
Плывет верхом на умирающей плоти.
Куда? Куда?

Мгла горящей купели небес… (А на дальней земле могила
Ворота смерти ему давно растворила).

И опускается женщина-птица
На бесхлебную кручу над фермой, лежащей в ладонях холмов,
Над озерами и полями, плывущими вдоль извилистых берегов,
Над долинами, где о последнем убежище не устает он молиться.

Молится он о доме молитв и огней.
Сказке конец.
И больше не прорастет увядающий зеленью танец,
Менестрель умирает. И начинается пение там, где снег,
Где вырезали когда-то фигурки птиц
На корках теплых хлебов в деревнях желаний.

И по замерзшим озерам скользили призраки рыб
На летучих коньках-плавниках, и резали песнь соловья. А это –
Не кентавр, а только труп лошади среди каменных глыб…
Снова сохнут ручьи,
И круговые линии возраста спят на пнях до трубы рассвета.

Торжество затаилось. Умолкли слова.
Время хоронит погоду звенящих апрелей,
Которая скакала свежерожденной росой,

Потому что вот она – лежит на постели,
Словно спит, эта женщина-птица, или вовсе мертва?

Крылья ее распахнуты, гимны пропеты.
И его обручают…
Но с кем?
Ведь между ляжками той невесты, которая всех и всё поглощает
Женщина-птица встает, устремясь к небесному свету,
И улетает совсем…

А он все пылает на ложе невесты,
На ложе любви, в центре того, что похоже на водоворот,
Переполненный желаниями в складках Эдема, в кругу
Вечного бутона вращающейся вселенной,
Где Женщина-Птица встает,
Расцветая с ним вместе на истаивающем снегу.

ΔΔΔ

73. НА ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ

Небо разорвано над
Сумасшедшей годовщиной двоих,
Данное слово в ритме своих путей
Вело три года их.

И вот – осколки любви лежат,
(И где-то недалеко пациенты доктора Лав
Ревут на цепи),
А из каждой обычной тучи, из облачка каждого взрыва
Бьет смерть, разрушая их дом…
Слишком долго они шли
Не под тем, не под тем дождем,
Их разделяла любовь, но теперь вместе опять они,
В их сердца извергается окно за окном,
И пылают в мозгу разделяющей двери огни.

74. БЫЛ СПАСИТЕЛЬ КАК РАДИЙ

Был спаситель как радий:
Так он редко являлся,
Хоть и был обычней воды и суровей правды –
Но класс собранный, чтобы услышать о нем,
Загоняли в глубокую тень солнечным днем.
Золотая нота превращалась в звук замирающий и ничей:
Узники собственных желаний запирали глаза замками
В тюрьмах улыбок, не имея ключей.

Детские голоса
Вопили в пустыне:
Он обеспечивал нам безопасность своим беспокойством,
Тем, что все грехи на себя взвалил.
Ведь если не мы изранены, а мешающий нам –
(Все равно, человеком ли, зверем ли, птицей был)
Промолчи, и пускай себе стенает земля –
Мы спокойно творим всё, что сродни грехам.

Славословия слышались
Где-то в церквах его слез,
Далеко отстраненных от жизни живой.
От ударов ты не более, чем вздыхал под пуховой его рукой.
И не плакал, когда на земле кто-нибудь погибал,
Разве что спешил добавить свою слезу умиленья в его неземной поток,
К облакам прижимаясь щекой ...
Но сегодня – во мраке войны – никого кроме нас с тобой!

Два гордых брата.
(Окно завешено: светомаскировка)
Заперты в тесной зиме, в негостеприимный год,
И не пошевельнуть тощим вздохом, вырывающимся так неловко,
Слыша, как жадность людская огнем по соседу бьет...
Мы только постанывали, прячась в стенах жалкого рая
Здоровенную слезищу роняя...

И по смертям тех, кого не найдут,
И по поводу мелких грешков,
И по судьбе чьих-то обрушившихся домов,
Где никогда наших колыбелей и не стояло,
Смотрим вроде со стороны, как наш собственный прах
Проникает в наш собственный дом,
Потому что в себя самих нас что-то изгнало,
Но неуклюжая и безрукая наша любовь разбивает скалы.

75. НА СВАДЬБУ ДЕВЫ

Сколько раз просыпалась она, осыпанная золотыми дождями,
Когда утренний свет размыкал ей ночные веки, она глазами
Ловила его золотое вчера, спавшее в радужном свете,
Но наконец солнце нового дня взлетело из ляжек распахнутых этих,
Чудо девства, старинное как те самые рыбы, как те пять хлебов –
В гавани галилейского моря тают следы его уходящих шагов,
В золотом дожде рассвета – несчетны флотилии голубков...

Больше не будут дрожать неверные лучи на рассветной подушке,
Где раньше только желания золотого дождя отзывались в ее глубинах:
Сердце взглядом и слухом теперь ловит иную лавину...
А золотой призрак, звон которого проникал в нее, аж
До ртути костей, – уже под веками окон пакует свой нехитрый багаж:
Ибо живой мужчина спит там, где плясало только рассветное пламя,
И другому солнцу, чудному бегу крови она учится под его руками.

76. ОДИНОКО МОЕ РЕМЕСЛО

Одиноко мое ремесло,
Искусство тихих ночей.
Когда яростна только луна,
А любовники обнимают в постели
Свои горести и печали,
Я тружусь в ликующем свете
Не для суетных комплиментов,
Не за славу и не за хлеб,
И не ради аплодисментов
В светлом вызолоченном зале,
А за тот гонорар, что едва ли
Кто-нибудь разглядеть сумеет
В тайных глубинах души.

Не для презревших луну,
Не для суетных, не для гордых,
Я пишу на пенных страницах
Не для тех мертвецов, которым
Подавай псалмы с соловьями,
А для тех, кто хмельными руками
Обнимает в постели горе
В тихих глубинах ночей,
Кто не слышал и не услышит
Вовеки моих речей.

77. ПОХОРОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПОСЛЕ ВОЗДУШНОГО НАЛЕТА

1.
Горюющий я, – (сколько меня ни есть!), –
Горюем
На улице до смерти сожженной:
Вот
Ребёнок, который не дожил ни до какого возраста,
Ибо только едва...
Лежит на груди могильного холмика,
На черной груди
До черноты углей опаленный
(Какой выразительный рот!!!).
Мать могилку вырыла,
А в ладошках еще колышутся клочья огня.
И все поющие «я»–
Поём,
Поя
Тьму рожденья, взрывом сожженную
В самый миг Рождества!

Пенье –
Пойманный язык колокола
Машинально кивает,
Сопровождая движенье
Осколков разбитой звезды
В почти не рожденную вечность,
Горюем так,
Что чудо того воскресенья,
Что случилось когда-то,
Уже и не факт, а пустяк...

Прости,
«Всех меня» прости,
Передай
Нам свою смерть,
Которую, может быть, только верой
Мы в этом всемирном потопе –
О, удержите! –
Она одна оставляет нам силу жить. И –
Пока кровь хлестать не перестанет фонтанами,
Пока пепел птицей не запоёт,
Пока смерть, как зерно

Сквозь сердца мои не прорастет…
Сердца? Или сердце? (На все мои «я» – одно!)

Стенань-я
Над ужасом умирань-я
Младенца доутреннего,
Допетушиного –
Над выжженной улицей взлетели
Моря и миры, я-влённые в опалённом, оставленном теле…
Песнь вопиет о Младенце,
Последние отблески произнесенного Света, –
Это
Зерна сынов, оставленные в лоне черного пепла.

2.
Не знаю
Адама или Еву,
Или Авраамова жертвенного тельца,
Или
Услыхавшую Благовещенье Деву,
На снежный алтарь Лондона
Возложили…
О, жених и невеста вместе
Под грустным соском надгробья,
Снежного, как скелет,
В промерзлом Эдеме,
Адам и Ева в одном лице, в одной колыбели!
Не знаю, кто из них первым
В пламени маленького черепа сгорели?

Ни на миг
Не смолкает легенда об Адаме и Еве
В моем отпеванье
Младенца:
Он был один и священником и назореем,
В углях этого черепа –
Певцом, языком и словом!
Заросли терниями
Опустелые ясли Сада.
Паденье ночи – змеино.
Яблоко солнца.
Женщина и мужчина,
Вновь превращенные в глину.
Это – начало начал, во тьму вмятое снова.

3.
В органные трубы,
В сверкающие шпили соборов,
В раскаленные клювы
Петушков над ними,
Вертящихся по двенадцати
(Хотя даже в аду – их только девять!),
По двенадцати заведенным кругам
До ряби, до искр из глаз,
В мертвый механизм над урной субботы,
Над вздором фонарей,
Над вскипаньем рассветов, или
Над охлажденьем закатов,
Вы, звонящие каждый час,
Над мозаикой позолоченных тротуаров,
Втиснутые в реквиемы,
В бронзу, плавящуюся для будущих статуй,
В свеченье пшеничных полей,
В обжигающее вино,
Вы, неизмеримые массы морей,
Массы всех человечьих зачатий,
Прорвитесь фонтанами,
Повторяющими только одно
Слово (мельче коего – все слова!):
«Слава, Слава, Слава
Царящему надо всем на свете
Грому торжествующего Рождества!»

ΔΔΔ

78. ОДНАЖДЫ

1.
Однажды жил да кружил
Булавками портного обтыканный вокруг духа
Выкроенный по мерке кусок плоти,
То есть костюм. Стоил он даже и не дороже,
Чем в магазине готового платья,
Этот костюм из собственной кожи.

Но за него я плачу и плачу врассрочку
Каждого первого числа трудностей жизни,
Ежегодно рассчитываясь рабским трудом.
Эти так дорого и так поздно доставшиеся
Порванные любовью пиджак и штаны
Залоснились и давно продырявлены
Щёлкающими зубами на краю времён.
Я, молодой мастиф, работал с птицами
В строгом с кистями ошейнике
Хоть в подвальной мастерской у портного,
Хоть на палубе плывущего глотателя облаков.

На море, порванном пробками-кораблями, лица моряков
Расплываются: оказываются не в фокусе немного.
Я, одетый в глину, притворявшуюся то чешуей,
То водяными одеждами морского бога,
То пеной от шлепающих весел,
Изумлял все еще на корточках сидящих портных,
Держась однако в отдалении от этих,
Циферблатные лица носящих портных.

В медвежьей маске и фраке шикарно, мохнато одетый,
Весь в листьях и перьях,
От кенгуриной ноги земли,
Из холодного молчаливого мира,
Таща за собой искусанную морозом тряпку,
Я взвился ракетой
Над нелепыми хребтами Уэллса,
Чтобы изумить сверкающие иголки
Сидящих на корточках
Знаменитых иглокропателей из «Шеби и Шорт».

2.
Дурацкий костюм так легко мне достался,
Вокруг гроба таскаю я человека-птицу
И привидение, о котором уже говорил,
Рано, рано я напялил капюшон совы, –
(Темное знанье)
И научился прятать ахиллесову пятку.
А когти в футлярах и дырка для отрухлявившей головы
Обманули, как я думал, моего создателя,
Идола на корточках, шившего этот костюм.
Сидящего на облаке закройщика,
Шьющего нервами вместо ниток.

На морях из разных сказок
Чешусь рогами, бью крыльями, Колумб в огне…
Глаза этого идола-портного пронизали все костюмы и шкуры,
Сверкая сквозь мою акулью маску и голову мореплавателя.
Холодный клюв Нансена… Корабль полон гулкими гонгами.

И остался мальчик – обычно скроен и просто сшит.
Блестящий притворщик,
Смешная подделка сразу под денди и моряка.
С сухопутной плотью, годной для украшенья и для постели.
Славно тонуть в приготовленной удобной водичке
Вместе с моим бездельником, промышляющим насчет клубнички,
Вызывая детский голос из паутинной ноги камня…
Никогда, никогда, никогда не жалеть о рожке,
Который я нес в рассекающей волны руке.

Теперь когда ненужные тряпки сняли с меня, и – на гвоздь,
Я лягу и буду жить реальностью спокойной, как белая кость.

ΔΔΔ

79. КОГДА Я ВСТАЛ, ГОРОД УСТАЛ

Когда я встал, город устал,
Но не перестал
Говорить на всех своих языках:
Птицы, часы с разных сторон
И колокольный звон...
Змеящуюся толпу оглушает он.
Саламандра в пламени – кочерга –
Дырявит мой сон...
Море, которое рядом, разгоняет бесов и жаб
(К радости баб),
А кто-то, с кривым садовым ножом,
В лужу крови своей погружен...
Кто он? Дублер времен?
От рассвета отрезал сон,
Бородой как лезвием вооружен,
Или картинка из книги он?
Вот он последнюю змею отрубил,
Как тонкую веточку, чей язык
Истерся в наждачных объятьях травы.
Каждое утро – это я, а не вы, –
То на тот, то на этот бок,
Я, в постели ворочающийся Бог,
Иногда добрый, и злой иногда,
С лицом, изменчивым, как вода,
Я всех разнодышащих создаю,
Всех, за кем глаза смерти следят:
И мамонта, и с дерева – воробьев водопад,
И бурундука, и змею,
И всеобщую землю – листья летят
Вскачь. Словно утки, лодки кружат
По воде.
Так вот:
Просыпаясь, я слышу Земли приход,
Через звуки города в воздухе, где
Совсем простой, не пророческий сон,
Кричит, что мой городок осужден,
Что трещит по швам, что раскалывается он...
Часы говорят: «Нет времен».
«Бога нет...» – откликаются колокола.
А я натягиваю саван на островки,
И ракушки на сомкнутых веках глаз,
Поют как медные пятаки.

80. КОГДА НАД ВОЙНОЙ

Среди убитых при утреннем налете был
человек столетнего возраста.

Когда над войной поднимался рассвет,
Он вышел из дома, побрит, одет.
И погиб. И зевали замочные
Скважины, взрывами развороченные.
Там, где любил он, там на осколки булыжников и упал,
На раскрошенный взрывом могильный асфальт.
Скажите его улице, опрокинутой навзничь,
Что он остановил солнце,
И кратеры глаз испустили ростки – юность, огонь, зелень,
Когда все ключи,
Из замочных скважин выстреленные, зазвенели.
Так не ищи цепей его седого сердца, не ищи! –
Телега небесной скорой помощи, которую тянет рана,
Созовёт всех, ждущих стука лопаты по тесной клетке,
Но пускай вдалеке от братской телеги его кости останутся!
Вот уже утро на крылах его лет несется,
И сотня аистов садится на луч по правую руку от солнца...

81. СПИ СПОКОЙНО. НЕДВИЖНО

Спи спокойно. Недвижно. Позабудь страданье
Раны, в горле горящей! Мы на молчащем море
Всю ночь раскачивались, слушая звучанье
Раны, распахнутой под соленой простыней.

Мы дрожали: голос моря, отраженный луной,
Вытекал, словно кровь из кричащей раны,
И шторм над разорванной соленой простыней
Уносил голоса всех утонувших.

В медленном печальном сквозном проплыванье
Люки блуждающего корабля распахни всем ветрам:
Ибо к последнему причалу начинаются и мои пути...

Мы слышали море, слышали соленой простыни звучанье...
Спи спокойно. Недвижно. Спрячь голос в горле. Иначе и нам
Придется вместе с тобой – сквозь строй утонувших пройти.

82. ВИДЕНИЕ И МОЛИТВА

1.

Кто
Ты такой,
Рожденный в той
Комнате за стеной?
Так громко для меня это было,
Что я слышал, как распахнулось лоно,
Слышал, как над призраком пролетела тьма,
Слышал, как сын плюхнулся там за стенкой тонкой,
Что даже тоньше, чем косточки у перепелки,
В крови рожденья, в незнакомом верченье
В горенье и столкновенье времён,
Склоняя не перед крещеньем
Оттиск сердца людского,
А только перед той,
Благословившей
Дикого ребенка
Тьмой.

Я
Должен
Недвижней камня
Лежать за стенкой, что тоньше
Косточек куропатки, и слушать стоны
Матери мне незримой, и кажется где-то там мне
Вместилище боли, выдернувшей из бегущих лет
Завтрашний день, будто терновый шип,
И акушерки чуда поют в то время,
Как буйный только рожденный
Выжигает на мне свое имя,
И отлетает окрылена
Терновым венцом
Выбитая стена
От чресл его
В свет.

Когда
Косточка
Куропатки
Будет корчиться,
И светом ребенка зажжен
Затопчется первый рассвет перед
Грядущим царствием ослепившего небо и мать его Деву,
Которая носила его с костром во рту его и качала
Его колыбельку, как буря шальная, я выбегу
В ужасе из комнаты, еще так недавно
Тьмы капюшоном накрытой,
И вот она, странно сверкая,
Кипит от его поцелуя,
Прочь побегу я,
Напрасно
Рыдая.

В
Верчении
Солнца в кипении
Циклона от младенческих крыл
Я потерялся и плачу у мокрого трона
Сына человеческого, и в ярости первозданной
Ливней и молний безмолвного поклоненья ему,
И к черному тающему молчанью я стремлюсь потому –
К оплакиванию обратно стремлюсь –
Потому что я совсем позабыл,
Кто пришел в эту гавань.
И слепнет мой плач,
Оттого что ран его
Высокие полдни
И его самого
Нашел я

Там
Голый
Согнувшийся
В святилище груди
Его сверкающей я проснусь,
Чтоб увидеть место суда в этом
Бедламе выпущенного на волю морского дна.
Облако вознесется из могилы силой огня и в небо,
Вызванный из неё прах вихрем взовьется,
В каждой крупинке живой отзовется

Из осажденной грифами урны утра.
О, спираль вознесенья
Человеческого,
Когда земля
и

Оно,
Только что
Рожденное море
Восхваляют восход солнца!
И Адам настоящий, всё находящий,
Запоет о начале начал! О детские крылья,
Полет из провалов забвенья к ранам его узнаванья.
Небесные шаги тех, кто всегда гибнет в бою,
Явление святых тебе, старинная юность!
Мир, заведённый как должно!
Нараспашку вся боль моя
Видна, отлетая,
И умираю
Я

2.
От имени тех потерянных, которые торжествуют
В свинских долинах меж темной падали, под
Похоронную песню птиц отягченных
Душами утонувших и грузом забот,
Птиц, вознёсших зеленый прах
Призрака на крылах
От
Земли,
Как пыльцу
На перьях черных,
На клювах в грязи и слизи,
Я молюсь, хотя я не принадлежу
К этому стенающему братству, ибо радость
Пошевелилась в глубине моего костного сердца

Тот, кто учится сейчас солнцу и луне молока
Матери своей, еще может вернуться к ней
В кровавую комнату рождения прежде,
Чем губы расцветут и засветятся,
Туда, за куропачью стену,
Может еще с немотой
Вернуться в лоно,
Выносившее

Для
Людей
Обожаемый
Младенческий свет,
Эту вечно сияющую тюрьму,
Что тоскует по его возвращению.
А я во имя всех переменчивых, буйных
Ему в средоточии тьмы неустанно молюсь
О тех потерянных на горе не знавших крещенья,

Чтоб дал он мертвым спокойно лежать в гробах,
Не внимая неразумному их моленью
О том, чтоб руки его в шрамах
И в черных шипах
К святилищу
Раны мира
Его
Вознесли их,
В сад капли кровавой.
Нет, пусть они терпят тьму,
Спящие в глубинах гробов-пещер,
Чтобы костное сердце их не проснулось.
Лучше пусть на кроне горы оно расколется
Там, где никто никогда не видал и следов солнца.
Лучше пусть этот прах трепыхающийся будет сдут
Вниз к руслу реки под вечно ниспадающей ночью ночей.

Вечно ниспадающая ночь эта так давно знакомая
Колоколу тех спящих, чей язык я раскачиваю,
Знакомая легиону их та звезда и страна,
Так значит надо оплакать Свет
Сквозь море и землю
Всё затопляющий.
Вот мы знаем
Лабиринты,
Коридоры,
Пути,
Все места,
Все жилища
И все могилы
Вечного падения,
И самый обыкновенный Лазарь
Из числа этих спящих просит только
О том, чтобы никогда больше не воскресать.
Ведь страна смерти не больше, чем сердце ни на пядь.
Звезда потерянных соответствует форме их глаз.

От имени всех не имеющих отца, от имени
Неродившихся, не желающих утренних
Акушерских инструментов и рук.
О! От имени ни-кого сейчас,
Ни-кого сущего, от их имён
Я молюсь, чтоб
Багровое
Солнце совсем отвернулось
От серой могилы, и серый свет глины
Заструился бы над местом его мучения
В ясном вечере над нестрашною тьмой земли. Аминь.

Я переворачиваю страницу молитвы и вот сгораю
В благословении внезапного солнца.
От имени (и во имя) проклятых
К спрятанной от меня земле
Я ударяюсь в побег,
Но луч солнца
Крестит
Небо.
Я
Найден.
О пусть только Он
В ранах мира своего
Опалит и утопит меня.
Его молния ответит моему крику,
Мой голос испепелится в ладони его,
И теперь когда я затерян в нем слепящем,
Солнце ревом своим завершает молитву мою.

83. БАЛЛАДА О ДЛИННОНОГОЙ НАЖИВКЕ

Скользнул скрипящей шаланды нос,
Берег черен от птиц. Прощальный взгляд
Провожает копну разметавшихся волос,
Булыжники истоптанного города звенят:

«Желаем удачи! Твой якорь свободен,
Как сухая птица, сидящая на мачте,
Как взгляд рыболова бирюзово-китовый,
Прощай, суденышко, желаем удачи»

Это песок прошуршал ему, это
Земля, отраженная водой, говорит:
«Не оглядывайся! Ради меня – парус к ветру!»
Волнолом, ослепленный закатом, горит.

Паруса пили ветер, и молочно-белый
Полетел он в эту пьющую темноту,
А солнце-корабль разбилось, очумелое,
Наткнувшись на жемчужину, прикрывшую ту

Дыру, где луна из облачных обломков, где мачты…
Прощай, кораблик, вот воронка-водоворот,
И ты прощай, который на палубе – враскачку –
Золотистая блесна на леске поёт.

«Да, мы видели: девушку, вместо наживки
С поплавком он в море забросил, и
Был крючок в губе и в крови были рыбки!» –
Так рассказывали ушедшие за горизонт корабли.

Прощайте, дымы труб городских,
Прощайте, старые жены, прядущие нити,
Был он слеп к туманным зрачкам свечек еле живых,
В окнах волн, приготовившихся к молитве.

Только слышал, как его наживка отбивалась
От налетавших стай – за любовью любовь –
Опусти удочку, ведь не такая уж малость –
Если море всхолмилось от несчетных китов!

Она тоскует среди ангелов, морских коней и
Рыбой радужной извивается в радостях снов,
И качаются в волнах звоны утерянного
Собора, перемежающиеся со звяканьем буйков.

Там где якорь взлетал, как черная чайка,
Над шаландой, ударенной луной в бока,
Шквалы птиц падали, вопия отчаянно,
И дождь из глоток выдували облака.

Он видел, как шторм-убийца дымился
Таранами торосов в туманах беды.
Был фонарь на борту звездным светом Иисуса,
И ничто не светилось на лике воды,

Разве капли елея лунными пузырями –
Этот, опыта жизни набегающий вал...
Из-под пены рыбины то выскакивали, то ныряли,
За ними наблюдал он, их целовал.

Просыпаясь, больные волны моря вздувала
Стая китов, – словно мысы тянулись в простор,–
А в глубине наживка, то золотая, то в цвет коралла,
С дождевыми губами ускользала от тех горбатых гор,

Убегая от плавников, от их любви в ткущиеся узоры погруженья
(От рева в их легких рушился Иерихон),
Она ныряла, кусалась, сдавленная любовями, и было ее вращенье,
Словно в воронку воды мяч длинноногий вплетен.

Пока не проревел в развороте каждый зверь длиннохвостый,
И каждая черепаха не выломилась из панцыря, чтоб заорать,
И каждая кость из распахнувшейся земли погоста
Не вскочила, не проорала свое и не упала опять –

Удачи руке с удочкой пожелаем безмолвно,
Ибо не удилище под пальцами его, а гром,
Золотая блесна становится нитью молнии
Оттого, что яростная леска поет огнем!

Шаланда в водовороте, в горении его крови
От сетей до ножей взревывает, а над
Птицы морские, с птенцами, мощные, как здоровье,
Как быки Бискайи с сонмами их телят

Сотворяют под зеленой зыбью стекляруса
Длинноногие наживки из прекрасных жен,
К черту черные вести! Пусть на полотнище паруса
Ритуал вселенской свадьбы в волнах будет изображен!

Над радужными вспышками брызгающегося утра,
Над лязганьем подводных садов встающего дельфиньего дня,
Бей в колокола, не умолкая ни на минуту,
Мачта моей шаланды, колокольня моя!

Через нос перекатывается вода, пой сквозь нее неустанно,
Ты, осьминог, колокол, идущий на всех ногах,
Бей, сглаживай волны! Палубы – гудящие барабаны.
И хоть поступь полярного орла теряется где-то в снегах,

Но от солоногубого клюва до удара в корму – всё – песня,
И о том, как тюлень целовал своих мертвых в задубевший рот,
И о том, что каждая оплодотворенная минута-невеста
В жесткую койку старости все равно вплывет.

Над подводным кладбищем под горами и галереями
Соловей ли, гиена одинаково рады той
Будущей смерти, наплывающей по волнам быстрее,
Чем наползает песок, издающий свирепый вой

Над тем песком ли, над анемоном, не зная меры,
Над пустой раковиной, из которой была рождена –
(Вечный враг его!) – желанная плоть Венеры,
Которая под видом девы-наживки в море погружена.

Проста как угорь она и стара как вода.
Как хлеб раскиданная по всем по его путям,
Вечное прощай тебе, длинноногая нужда,
Соленые птицы едят – взмахи крыльев навстречу волнам,

И в их клювах пенятся колосья земных растений,
Вечное прощай и вам, изменчивые огни лица:
Ведь крабоспинные предки с их морской постели
Встали и промчались путем, которому нет конца!

Когтистый взгляд мертвых холодней снега,
Соблазнитель, что под ресницами показывает спящим,
Одолеваемым желаньями, что такое нега,
Показывает белолунных голых баб над мачтой:

И ходят по влажному воздуху прелестные тени,
Ибо стыд растворился в невестинских огнях,
И Сусанна утонула в бородах как в пене,
И около Вирсавии никто не вспомнит о стариках,

Кроме голодных морских королей, чьи короны – прибои,
Грех в соблазнительном бабьем облике спит, пока
Гребни вод взлетают под небо дневное,
Спит, пока молчание раздувает облака.

Люцифер, эта падающая камнем птица,
С пределов севера прилетевшая, как беда,–
Растаял, потерялся и больше не шевелится,
Сводами ее дыханья раздавленный навсегда!

Венера лежит, звездным ударом ранена,
Чувственные руины создают времена
Года, в том жидком мире, где рассветно-ранняя
Смахивает тьму побеждающая белизна.

Вечное «прощай» звучит из раковины, где Венера созрела,
Вечное «прощай», – ибо плоть вылеплена теперь на век!
И рыбак сматывает удочку так неохотно, будто бы это дело
Некий призрак делает, а не живой человек.

Вечной удачи желает пернатая, но с плавниками
Птица после заката, и смеется рыба, пока
Паруса выпивают с приветственными громами,
И длиннохвостая молния озаряет рыбака.

Лодка плывет в сторону шестилетней погоды,
Тень от ветра мгновенно замерзает – была и нет,
Вот золотая наживка уже тащит что-то
Из под гор и галерей к гребню волны на свет.

Вот смотри, что там льнет к льняным волосам,
Пока шаланда летит на крыльях, пьющих ветра.
Хлопья снега подобны белым большим холмам,
Статуи огромного дождя неподвижны с утра.

Пой, бей пеньем твоим по его тяжелой ноше,
Заливай лодку светом, что белее любых снегов,
Заливай палубы насквозь от чудес промокшие:
Как чудо христово о рыбах – твой длинноногий улов!

Из урны размером с человека, не более,
Из комнаты весом всех его несчетных бед,
Из дома, в котором целый город разместился бы вольно
В каменном континенте неисчислимых лет,

И сухие, как эхо с узкими лицами насекомых,
В шалях праха, один за одним приближаясь, вот
Предки его льнут к ее руке незнакомой
И рука прошлых лет будущее ведет,

Ведет как детей, их, легких, как воздух,
К слепо качающимся верхушкам мачт,
И столетья, отбрасывая назад волосы,
Поют новыми губами, как пела бы только мать:

«Да, Время само беременно новым сыном,
Оно ворочается с искрами боли в лице,
Целый дуб падает в желуде, свалившемся в глину,
И малиновку ястреб убивает еще в яйце»

И тот, кто раздул пламя и умер в его шипении,
Или шли по земле вечером, пересчитывая не взошедшие семена,
Льнет к ее уплывающим волосам, а кто обучил их пенью,
Карабкается как встающее солнце, ибо ждет его вышина.

Он рыдает в толпе народа, среди льющихся хоров.
Удочка, предугадывая берег, компасной стрелкой его ведет,
И расступаются воды, и появляется сад, который
Подползает к ее руке со зверями, с жителями высот и вод,

С мужчинами и женщинами, с горным голосом водопада.
И сад этот сух, даже в водовороте, пожирающем корабли,
И ошеломленная и спокойная травяной вуали прохлада
Над песком времен хранит легенды и песни земли.

Пророчество на выжженных дюнах. Долина охватывает бедра,
А время и место ей подпирают соски,
Она переполнена облаками и временами года,
И пресные воды касаются ее руки.

Вокруг волочащегося запястья эти воды вьются,
Там рыбы снуют, там гремят обточенные голыши,
Вверх и вниз на волнах морских раскачиваясь, рыбы несутся,
И смешиваясь с морем, дышащая река спешит.

Пой про улов: это в его полях под ветром колосья гнутся,
Это все море до горизонта засеяно ячменём его.
Это его стада на пене морской пасутся,
И холмы отгоняют волну от подножия своего.

На холмах дикие морские кобылы в уздечках промокших,
Соленые жеребята – вокруг ног их морские ветра,
И все лошади его улова, чудесного, невозможного
Через зеленые горбящиеся фермы скачут уже с утра,

Или бегут рысцой, а над ними чайки – всё мимо,
В гривах сверкают молнии и тают вдали,
О, завтрашний Лондон – судьбы Содома и Рима,
Булыжными городками покрылся прилив земли.

Тучу, наброшенную на ее плечо, протыкают шпили,
А улицы, по которым рыбак жилища достиг своего –
Как эти длинные ноги, которые ветрами в пламени были,
А все прочее – страстью охотника, сутью желания его.

Улицы? Это же ее волосы вьются: не он поймал, а его поймали,
Его привели живого. В ее щедрый дом привели,
Как блудного сына к яростному закланию
Тельца. В отеческом доме. В доме любви.

Внизу, внизу, внизу под качающимися деревнями
Ворочается тоскующий по воде город рыб.
Город на цепях у луны, цепко удерживающей лучами
Каждую улочку среди холмов и скалистых глыб,

Ничего не осталось от моря, кроме близкого гула.
Но где-то в глубинах твоих еще колобродит оно,
На смертных ложах садов, где его шаланда уснула
И наживка тонет в стогах, невидимая давно.

Земля. Земля. Земля – более ничего не осталось
От ровной походки моря, кроме голоса рыбака.
В его болтливые семь морей столько могил затесалось,
Сквозь церковные плиты ныряет якорь. Пока,

Прощай. Удачи тебе. Бьют не часы, а солнце.
Оно позаботится о затерянном на суше, о рыбаке,
Который стоит один в дверях своего дома,
Стоит на пороге – с длинноногим сердцем в руке.

84. ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ

С ложа любви я вскочил,
Когда бессмертное это леченье опять меня утешало, пытаясь
Жизнь облегчить горсточке моего неизлечимого праха,
Когда разрушение и распад, грозившие, словно из-за за морей,
Вдруг сквозь колючую проволоку вырываясь,
Налетели, как войско, на наши дома и наши раны –
Да, я вскочил, ибо должен был приветствовать эту
Войну, но к войне не лежит моё сердце, и зовет постоянно
Только тот единственный мрак, которому я своим светом обязан,
Я зову исповедника, ибо знаю, что на свете нет зеркала,
Которое было бы этого мрака мудрей,
Зеркала, что сияло бы после той ночи,
когда побит был камнями бог,
Я ведь тоже священный творец,
я так же сутулюсь под ударами солнца,
и не менее одинок...

Нееет!
Не утверждай радостно, что всё на свете – весна,
И Гавриил с благовещеньем, и Неопалимая Купина,
Что рассветная радость взлетит фениксом из погребальных костров,
Что кипящие слезы многих остывают и сохнут на стене плача,
Что надо всем – щедрое солнце мое
с колчаном лучей,
дарующих чистый свет –

Нееет!
Бунтарство, и воплей барабанящий град
Да будут благословеньем освящены:
Ведь только одной безумной тревоге позволено петь
Во тьме человечьих домов, среди тишины
И если даже в последний раз песни ее звучат,
Это она, она – матерь Священной Весны!

85. ПАПОРОТНИКОВЫЙ ХОЛМ

Когда я был мал и свободен под яблоневыми кронами,
И дом напевал мне что-то, и я был счастлив,
как луга счастливы свежей травой,
Как ночь над долиной, усыпанная звездами зелеными,
И Время меня окликало и позволяло
быть зеницей ока его – то есть самим собой,
Я был принцем яблочных городков,
знакомцем всех телег,
И когда-то, еще в довремени, видал, как деревья
Плывут вместе с ромашками и ячменём
По свету, сочащемуся из листопада, вдоль желтых рек.

Зеленый, беспечный, был я приятелем всем сараям
На счастливом дворе, –
эта ферма была моим домом, – я пел
Под солнцем, которое только однажды юным бывает,
И время позволяло играть:
Его милосердием был я отмечен, играя,
Был зеленым и золотым, среди его охотников и пастухов.
Телята пели под мой рожок,
лисы звонко и холодно лаяли,
И субботний день побрякивал, медленно переливаясь,
Камушками священных ручейков.

Всю солнечность напролет всё летело и радовалось,
Всё было воздухом и игрой,
Веселой и водяной, как зеленое пламя трав
На лугах, где трава выше дома,
где пение дымовых труб.
И по ночам под простыми звездами,
Когда я, воспитанник всех конюшен, скакал ко сну,
И совы прочь уносили ферму – я напролет всю луну
Слушал козодоев, улетавших со стогами и лошадьми
Во тьму, в ее мелькающую игру.

Но я просыпался, и ферма – седой бродяга –
Приходила обратно с петухом на плече,
в новорожденном дне,
Это были Адам и Дева – небо опять возникало,
Солнце становилось круглее в тот самый день, и –
Оно обновлялось, обычнейшее явленье
Рассвета, когда волшебные кони,

Сквозь раскручивающееся вращенье,
На полях восторженного и всеобщего пенья
Выходили из ржущих зеленых конюшен ко мне.

И под облаками, только что сотворенными,
Я был счастлив: бесконечность была впереди! Вот таким
Под новым солнцем каждого дня, только рожденного,
У веселой фермы я и лисами, и фазанами был любим,
Я беспечно бегал,
                    и по дому носились толпы моих желаний,
Я не беспокоился на синих небесных путях этих,
Что так мало песен рассвета
                                        было спето временем моим:
И я не тревожился, что зеленые дети
Попадут в суровую немилость вместе с ним.

Я не тревожился этими белыми ягнячьими днями
О том, что время, ухватившись за тень руки,
                                                  не дав оглядеться,
Утащит меня при встающей луне к ласточкам на чердак,
И что однажды, скача в постель,
                                    я услышу, как оно удаляется вместе с полями
И проснусь – а ферма навек улетела с земли:
                                                    и нет больше детства,
Когда я был мал и свободен
                                        у времени в милостивых руках,
Когда оно берегло меня – зеленым и смертным,
И пел я, как море поет, в легчайших его кандалах.

ΔΔΔ



В ДЕРЕВЕНСКОМ СНЕ

(1952)

86. В ДЕРЕВЕНСКОМ СНЕ

1.

Ты, повсюду летающая на волшебном коне,
Никогда, моя девочка, не бойся, что волк в овечьей
Шкуре нападет с фальшивым блеяньем в заколдованном сне
На тебя из лиственного логова, в росе по колени,
Чтобы сердце твое проглотить в этих зарослях розовой тени.
Так чувствуй себя в безопасности: ведь в этой стране
Каминных сказок бояться нечего!

Спи тихо и зачарованно, девочка. Броди среди ярких снов
В ночных домотканых сказочных королевствах,
Ведь не превратятся ни стадо гусей, ни свинья
Ни в пламенного Гамлета, ни в самодельного короля,
Чтобы заигрывать до рассвета с твоим избалованным сердцем.
Вот она, твоя живая изгородь из мальчишек и гусаков,
Крапивы и зеленых шипов...

И не плачь, не будут овраги мешать ночами,
И никто добиваться тебя не станет, всадница подушки своей,
От ведьминой пенной метлы
                                        заслонена ты папоротниковыми цветками,
Листвой деревенского сна, да навесом зеленых ветвей...
Лежи, ни о чем не тревожься, все будет как надо,
И среди камышей
Пусть не тревожит тебя мычание колышащегося этого стада.

А пока не втянул тебя в тот сон колокол неумолимый,
Не верь и не бойся, что деревенские чары и мрак пустот
Будут тебя терзать и оснеживать кровь,
                                                            пока ты проносишься мимо.
Ну кто, кроме лунного света да воронов
                                                  на горных карнизах живет?
Ну кто крадется
Вдоль лощин, кроме лунного света, ведь это –
Всего только звездное эхо колодца...

Ангел холма коснется, сова из кельи святого
Восславит сквозь монастырские купола листвы
Дерево, красногрудое, как малиновка,
троицу Марий в лучах света живого.
Ведь Святая Святых – глаз животного, а не травы...
Чётки дождя бормочет святой.
И похоронным колоколом прозвучит голос совы.
А роща и лиса перед кровью склонятся главой.

Восходящей над пастбищем звезде сказки возносят славу,
Басни спокойно пасутся ночь напролет,
И на престоле господнем мерно колышутся травы.
Опасайся не волка в блеющем одеянье,
не принца с клыками свиными,
На привычной ферме, где лужи – трясины любви. Так вот:
Бойся Вора, кроткого как роса...
А сельская жизнь ведь славна святыми,
Так радуйся этой земле, которая благословенье несет.

Води знакомство с зеленым добром, что луну выкатывает
С молитвой в розовые леса.
Защитят тебя и заклинания, и цветущий папоротник,
А ты в милосердном и тихом доме слушай беличьи голоса,
Спи под звездой, под соломенной крышей, под полотном одеяла,
Хранимая и благословенная в веселых лесах,
Думай о четырех ветрах, которые ты искала.

Хоть ты и рыщешь в поисках четырех ветров,
Меж гаснущей тенью и пощелкиваньем щеколды у двери,
Не теряй голову среди грозящих клювами кустов
В паутинной тьме:
Вор хитер, каждый шаг свой он перепроверит.
Он хитер как снег, и мягок, как роса на злобе шипов,
В эту ночь, да и в и любую другую, он себе на уме.

Пока неотвратимый колокол голосит на башне,
А над стойлами каминных сказок господствует сон ночной,
Моя последняя любовь и душа по водам идут бесстрашно
В эту ночь, да и в и любую другую
озаренные падающей звездой
Твоего рожденья,
Вновь и вновь вор находит путь
так же неотвратимо, как снег над землей,
Или из глубоких долин беззвучных туманов явленье,
Так падает дождь, или град на шкуры овец и коров

Через златосенные стойла, так падает роса на матовую
Яблоневую пыль, смолотую мельницами ветров,
Так рассвет на листву, так звезда,
так яблоневое семечко крылатое
Соскальзывает, чтоб разрастись
в зияющей ране,
И вот так же проваливается мир в тихий циклон молчания.

2.

Ночь. Северный олень в облаках над стогами.
У великой птицы-Рух ярмарочно украшены крылья.
Взлетает сага молитвы! Ветры – на заячьих лапах!
Из черных келий грачи взлетают, паря без усилья.
Священные птичьи строчки в небе зажглись,
И среди петухов пламенеет лис.

Загорается ночь птиц на крылатом запястье тернового
Ле́са. Буколическое биение крови сквозь кружева
Листвы. Поток из черной рощи и рукава
Сутаны. Колюч, как чертополох, мороз. Невнятное слово
Призрака в стихаре, в коего верят едва-едва.
А он поневоле поёт, соловьиные сказочки перебивая.

Торчит кипарис. Жидкое молоко. Кто-то бренчит во дворе ведром,
Громкая птичья проповедь над шепотом леса,
Сага хоть для водяных, хоть для серафимов:
Все твердят в эту ночь о том,
Кто приходит, рыжий как лис, в ветровых сандалиях Гермеса.

Озаренность мелодий! На волне стихла чайка с черной спиной.
И песок у нее в глазах. А жеребенок по озерцу,
подернутому дерном,
Идет, покачивается молча, на копытцах, подкованных луной,
В кильватер тебе ветер ночной.
Музыка стихий, чудо творящая и чудом же сотворенная!
Земля, воздух, вода и огонь, поющие светлым квартетом!

Со скважинами голубых глаз сенноволосая любовь моя спит
В доме, окруженном сиянием, продолжая скакать по холмам,
Благословенная и настоящая.
Так тиха, что планеты ничего не пугаясь, сходят с орбит.
И плачет колокол. И ночь собирает жатву глаз.
И волей-неволей сваливается вор,
Тих, как роса в самый мертвый час,

Только чтоб повернуть землю, разглядеть в боку зияющую рану,
Обогнув солнце, он к моей любви неотвратимо, как снег, наверняка
Приходит медлительный, хитрый,
Летит к пряди цветов, тихий в тихих волнах тумана,
Проскальзывая, как под парусами плывут корабли-облака.

Он крадет не рану ее, сгребающую приливы,
Не скачку ее, не глаза, не пламя волос золотисто-огненных этих,
А только веру в то, что каждую ночь, звучащую сагой молитвы,
Он снова придет украсть
Веру в то, что это последняя ночь в его несвятую честь, и
Что придется ему оставить ее в беззаконном солнечном свете.

Голая, в горе оставленная, опасаясь, что он не придет,
Всегда всеми желаниями своими, девочка, верь и бойся,
С самого рождения своего бойся, что от
Деревенского сна на этом рассвете,
как на каждом первом рассвете,
душа
проснется!
И вера твоя будет так же бессмертна,
как крик подчиненного вору солнца!

ΔΔΔ

87. НАД ХОЛМОМ СЭРА ДЖОНА

Над холмом сэра Джона
Ястреб в закате на пламенных крыльях
Парит неподвижно и напряженно.
Сумерки наползают. Ястреб лучами зрачков
Тянет, как на виселицу, к своим когтям
Разных мелких птичек – воробьев, куличков
И прочих, занятых детской игрой – войной.
Радостно крича, к огненной виселице они летят
Над возмущённой вязовой кроной,
Пока, по берегу гордо шагая, цапля святая
Неспешно рыбачит,
Клюв – косой обелиск –
над речкой Тауи наклоняя.

Трещат искры и перья.
Праведный холм Сэра Джона
На голову надел черный клобук из галок. Теперь –
К ястребу, огнем охваченному, одураченные
Птички летят увлеченно,
В шуме ветра над плавниками реки,
Где идиллическая цапля
протыкает клювом плотвичек и судачков,
На галечной отмели, поросшей осокой.
Ястреб с виселицы высокой кричит: «Дили-дили,
Поди-ка сюда, чтоб тебя убили!»
А я среди крабиков, шевелящих клешнями,
Листаю страницы воды, теней и псалмов.

Я читаю смерть и в раковине, и в колоколе буйка:
Славься, огненный ястреб – у сумерек твои глаза!
Когда он висит неподвижно и неизменно
В петле огней –
Юные пташки да будут благословенны.
И свистят они: «Дилли-дилли,
Сюда, сюда: мы ждем, чтобы нас убили!»,
Эти веселые птички никогда больше не взлетят с ветвей.
И цапля, и я, мы оба печальны:
Я, молодой Эзоп,
под звонкий аккомпанемент серебристых угрей,
Рассказываю что-то набегающим ночам,

А цапля поет гимны в дальней,
Кристальной
Долине, усеянной ракушками, – у пристани,
откуда отплывают скалы,
Где вышагивают белые журавли,
где пляшут стенки причала.
Эта цапля и я
Стоим перед холмом сэра Джона,
Ибо он – судия,
И рассказываем о вине погребального
Колокола, о птицах, с пути совращенных...
Соблаговоли, Господь,
в своем водоворотном безмолвии их спасти, Ты,
Благословляющий пение воробьиных душ!
Цапля печалится в камышах,
и я сквозь окно сумерек и воды
Вижу, как наклоняется, что-то шепча потаенно,

Цапля, которая под снежным круженьем пуха
Идет вдоль берега, отраженная,
Рыбачить в Тауи, прозрачной, как слеза,
и сова где-то ухает,
Но желторотые птенчики больше не закричат
В ограбленных вязах на холме сэра Джона,
И только цапля,
бредущая по щиколотку в чешуйчатой ряби волн,
Творит мелодию, и я этот реквием слушаю обожженно,
И у реки, на камне, расшатанном временем,
Под плакучими ивами,
Пока не сгустилась ночь,
В память о птичьих душах, отлетевших безвременно,
Высекаю значки нот.

88. СТИХИ НА ЕГО ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

Где солнце – с горчичное зерно,
Где в море скатывается река,
И бакланы по водяным холмам,
Как с катальных горок скользят,
Где в доме на ходулях, под птичий гам –
Ведь птичьим собраниям нет конца –
Глубоко в шершаво-песчаный день
Гнутый залив погружен,
Человек и празднует, и не хочет принять
Ветром сплавляемую по реке
Страничку тридцать пять...
Но на клювы цапель надета она,
Как на длинные копья времен.

По предначертанным смертным путям –
Чайки и камбала;
Кроншнепы, истошно, предсмертно крича,
Ловят морских угрей;
И языколоколом рифмач,
День рождения оглушив,
В узенькой комнатухе своей
К последней ловушке спешит,
Где только раны и ожидают его,
Но цапли благословляют его
С высоких шпилей-стеблей.

Осенью чертополохо-пуховой
К боли он гонит песнь,
А в ястребином, хватающем небе
Птахи бьются в когтях,
Стайки рыбешек неслышно скользят
Сквозь корабельный каркас
Туда, где жадные выдры ждут,
А поэт – в своих небесах,
В наклонно летящем доме. Там
Жесткие кольца его ремесла
Твердят, и в который раз,

Что в белых саванах цапли бредут, а
Над вечным платьем реки
Сбивается мелочь рыбешек в стада,
Собой образуя венки.

И на море, в этом диком краю,
Он знает, по чьей вине
Окончится свет, и змеиный взрыв
Накроет моря в огне.
Тут, где дельфины ныряют пока
В черепахокрутной пыли,
И тюлени мчатся убивать,
Глотая алый прилив

Собственной крови. В качанье пещер,
Где волны, слабея, молчат,
Тридцать пять ангельских колоколов
Ему по мозгам стучат,
По утонувшей прежней любви
(Да и не по одной!),
Их звезды, падая, шевелят,
И рыдает в клетке стальной
Завтрашний день, слепой, на цепи,
Которую ужас порвет,
И молотом ухнет огонь, и любовь
Сорвет запоры ворот,

Чтоб затерялся свободно он
В божественном свете звезд,
В кусто-шипОвой, где нет ни следа,
Ежевичной злой темноте,
В безвестной, не бывшей нигде, никогда
(Ибо тьма – это вечный путь),
Где вместо кустов растут мертвецы,
Радуя Бога небес,
В том, никогда не бывшем раю,
Которого не вернуть.

Там-то и будет бродить рифмач
Вдоль звездных пустых берегов,
Среди душ неприкаянных и костей,
Орлиных скелетов, мертвых китов,
Возле заливов в форме подков
Вместе с Богом, что не был рожден,
И неявленным Духом Его,
И вместе с каждой бездомной душой
В стадах небылых облаков
Воспевать он будет дрожащий покой.

Но эта тьма еще далека,
И поэт на земле ночной
Молится вместе с землей, пока
С живыми он заодно,
Но вдруг ракетные ветра
Из булыжников кровь источат,
И последние волны, смерчами взлетев,
Выкинут мачты и рыб
К дальним звездам, еще живым,
Но не верящим в рай и ад,

И не верящим больше Слову Того,
Кто небесный свод созидал,
Где души дичают, как табуны
Бурунов у пенных скал,
Так пусть середину жизни моей
Цапля или друид
Оплачут среди безвестных степей,
Куда мой путь не лежит:
Давно на мели мой корабль, мой рассвет,
Но и полумертвый язык
Шепчет, что благословен я, и
Благодарен за каждый год!

За четыре стихии, за пять моих чувств,
За то, что мой дух влюблен
И бредет через мутную пряжу лет
Туда, где на шпилях – лунный свет,
Где колокольный звон,
И море, скрывающее свой смысл
В темной тверди костей,
И качанье сфер в плоти ра̀кушек, и –
То, что всего важней –

Чем ближе к смерти, – (а к ней я плыву
В цветущем сверканье дня
На разлучённых бурей судах –
На каждом частица меня:
Вот любовь, вот память, вот что-то еще) –
Тем ярче над морем солнце–цветок,
Белее клыки-валы,
В триумфе веры я с бурей борюсь,
И утро звучней хвалы.
Я слышу: скачущие холмы
Жаворонков полны,
И росную осень славят они,

И ягоды зажжены,
Ангелы над громовой весной
Переполняют простор.
В руках у них огненные острова,
Это – души людей –
Души, святее ангельских глаз,
Никто из них не одинок,
В то время, когда отправляюсь я
В плаванье к смерти своей.

ΔΔΔ

89. НЕ УХОДИ БЕЗРОПОТНО ВО ТЬМУ

Не уходи безропотно во тьму,
Будь яростней пред ночью всех ночей,
Не дай погаснуть свету своему!

Хоть мудрый знает – не осилишь тьму,
Во мгле словами не зажжешь лучей –
Не уходи безропотно во тьму,

Хоть добрый видит: не сберечь ему
Живую зелень юности своей,
Не дай погаснуть свету своему.

А ты, хватавший солнце налету,
Воспевший свет, узнай к закату дней,
Что не уйдешь безропотно во тьму!

Суровый видит: смерть идет к нему
Метеоритным отсветом огней,
Не дай погаснуть свету своему!

Отец, с высот проклятий и скорбей
Благослови всей яростью твоей –
Не уходи безропотно во тьму!
Не дай погаснуть свету своему!

90. ЛАМЕНТАЦИИ

Когда ветреным я был пацаном
И в церковном стаде черной овцой
(Так старый хрен вздохнул
в смертельной жажде женщин),
В соблазнительный крыжовник, в кусты
Забирался я и жадно смотрел,
И краснел, когда к земле наклонясь
И выпячивая круглые зады,
Деревенские девки сбивали
Деревянными шарами кегли:
Я любую пожирал глазами,
Я влюблялся в округлость... Хоть луны,
И легко был готов молодуху
Бросить тут же в кустах – пускай ревет!

Когда был я порывистым и грубым,
Черной бестией меж набожных жуков
(так старый хрен вздохнул
в жуткой жажде бабьего тела),
А совсем уж не ветреным мальчишкой,
Но еще на мужика не похож,
Я всю ночь свистал, всех пьянчуг пьяней –
И рождались в канавах от меня черт-те кто
У каких-то бессчетных неведомых баб,
А кровати, раскаленные как сковородки,
Аж на весь городок мне скрипели –
«Ну, быстрей! Ну, быстрей, еще быстрей!»,
Я по клеверам разных одеял
Ненасытным жеребчиком скакал
В гуще угольно-черных ночей...

Когда стал я настоящим мужиком, –
И к тому же крепким, как бренди, –
Черный крест в нашей церкви святой, –
(так старый хрен вздохнул
в смертельной жажде вниманья),
То с моим басовым расцветом
Не сравнился бы и мартовский кот:
Нет, я был настоящим быком,
И не мышек я ловил, а коров –
Еще так далеко до того,
Когда в жилах замедлится кровь,

И кровать уже будет нужна
Моей угольно-черной душе
Не для скачек, а только для сна.

А когда я стал пол-мужика, –
«Поделом тебе!» – молвил мне поп, –
(так старый хрен вздохнул
смертельно боясь слабости).
Да, не бык, и не кот я и даже
Не теленок, а старый козел!
И душа из паршивой дыры
Недовольная вышла – когда
Час моей хромоты подошел,
Я брезгливо взглянул на нее
И вручил ей ревущую жизнь,
И заслал ее в черное небо,
Чтоб нашла мне женскую душу,
Чтоб нашла мне жену для души.

И теперь вот я совсем не мужик, не мужик,
Вот награда рычавшей жизни моей –
(Он вздохнул, умирая, –
заброшенный, всем чужой,
Аккуратный и тощий, – под аккомпанемент
Пенья горлиц и клацанья колоколов,
Не смыкающих челюсти колоколов),
Наконец-то душа моя в небе нашла
Благонравную женушку, чтобы та
В небе угольном ангелов зачала...
Но она жутких гарпий мне народила:
Вот Невинность поёт, Благочестие плачет,
И Воздержанность молится, и –
Скромность крылышками прикрывает мои...
И все семь добродетелей смертных со мной
Зачумляют последний мой вечер земной!

91. НА БЕЛОЙ ГИГАНТСКОЙ ЛЯЖКЕ

Склон меловой теряется в кустарнике, заболоченном, диком,
Несколько рек встречаются, отталкивая волны прилива,
Кроншнепы перекликаются через речки печальным криком,
Несколько рек сливаются в полноводном горле залива.

По белой гигантской ляжке пологой горы меловой
Среди длинных, темных камней –
этих женщин мертвых, давно бесплодных,
Я ночью бреду под луной, под только что зачавшей луной,
А женщины-камни все еще тоскуют о любви и о родах.

Их имена давно дождями с могильных камней смыло,
Но не ветер звучит над заливом – а этих женщин молитва:
Молитва о том, чтобы семя живое их освятило:
Ведь дано же сливаться рекам в полноводном горле залива!

Одинокие эти бабы
в ночной вечности изгибаются, словно обняв мужчин, и
В криках кроншнепов слышится их томленье о незачатых
Сыновьях,
и сочувствует им эта низкая ласковая гора, вся в морщинах,
Которая гусинокожей зимой тоже ведь любила когда-то.

Давно заледенели тропы, по которым этим бабам ходилось,
Под солнцем таким палящим, что впору изжарить быка,
Извивались они на телегах, где сено пахучее громоздилось,
Так что клочья его взлетали в низкие облака,

Подоив коров, они так весело на сено валились
В лунном свете с такими же юными как сами они,
И нижние юбки, лунной тенью взлетая, под ветром бились,
И радовались они полнокровно и верили в лучшие дни.

А вы, робкие девушки, что едва за седлом держались,
Обхватив грубоватых мальчишек, – и вы, и все, и все,
Кто зеленые времена тому назад радостно притворялись
Цветочными изгородями в рассветной прозрачной росе –

Все вы, прижмите меня к себе на этой бескрайной
Поляне радостного мира: ведь прах ваш был плотью корней
Всего-то вечность назад! И рядом с корнями отчаянно,
Весело хрюкая, рылось в земле розовое лукавство свиней.

Как светились тела этих женщин, хоть в свинарнике, хоть на сеновале,
Как ляжки парней сверкали!
(Куча соломы, как седьмое небо высока!)
А те бабы, что в сердцевину солнечного куста залезали
С шершавым садовником, грубым, как язычище быка?

Куст ежевики вгонял колючки в их золотые гривы,
Неугасимым летом в лунной роще колыхались, как шелк, тела,
И окуналась в туманное озеро,
напевавшее что-то камням счастливым
Та, кто невестой полей в придорожном доме цвела,

И слушала, как желанная – и полная желаний – поляна
Обреченно течет и течет в наступающие холода,
Как визжат, суетясь на рассвете, меховые зверьки монашьего сана
Под сводами чертополоха, пока белая сова их не унесет в никуда.

Но бесчинствуют своды леса, продираются рогами олени
Через чащи, за любовью, между факелами лисьих хвостов,
Все звери, все птицы в соединяющей их ночи это – звенья
Бесконечной цепи; и только тупые мордочки кротов

Молчат над холмиками...
А толстушки-девочки, масляные гусыни, –
(Медовые груди полны!) – как запрыгивали в кровати вы
Под хлопанье крыльев гусиного султана... И вот, ныне –
Где ваша темнота ржаная? И эти, и эти мертвы!

А как по весне плясали их башмачки на поляне,
Даже скирды от зависти неуклюже пускались в пляс,
И светлячки-заколки летали, кружась в тумане,
И вот ничего не осталось, и следа не осталось от вас!

Не прильнут никакие младенцы
к этим сотам в голубых прожилках,
На земле Матушки-Гусыни камни бесплодно пусты.
Каменные жены простачков-мужичков! Они ведь когда-то жили!
А сегодня кроншнепы требуют, чтобы я целовал эти рты

Исчезнувшие... Вот проезжает воз сена, но те, неугомонные,
Больше на нем не валяются. И маятники их часов
Больше давно не качаются, и чайники их запыленные
Больше никому не нужны. И запертые на засов,

Ржавеют в папоротниках кухни, как ножницы садовые,
Которыми подрезали некогда верхушки

изгородей и кустов,
Которые так непокорно все время вытарчивали, птицеголовые...
И от голоса менестреля становилась краснее кровь.

Эти женщины...
Да, вы все – из домов урожайных, плодных –
Крепче держите меня, все, кто слышали, как уплывал
Зов колоколов в воскресенье, когда поминают мертвых,
И дождик на выцветший двор с медных языков стекал,

Научите меня вечнозеленой любви, чтоб не увянуть ей
Даже после того, как осень засыплет могилу листвой,
После того, как имя любимой солнце сотрет с серых камней
И с креста, заросшего травой. Даже после того...

Ну, а по другим дочерям Евы будут плакать только
Те старинные поклонники, которые их и поныне хотят
В вырубленном навечно лесу, в котором звучат без толку
На когдатошних улицах крики голодных лисят.

Этих мертвых, бессмертных женщин только небо любит,
и оно в них сочится,
Капая сквозь деревья: а когда-то ходили их любовники тут.
И дочери тьмы, одна за одной, как Феникс, вечная птица,
Горят и встают из пепла, и снова горят и встают...

ΔΔΔ



В ДЕРЕВЕНСКОМ НЕБЕ и ЭЛЕГИЯ

(1953)

92. В ДЕРЕВЕНСКОМ НЕБЕ

Когда он явлен в деревенском небе
(Об этом знает сердце!),
Когда он перекрестит грудь востока,
Хвалу услышав,
Миров Создатель, он по-сельски скромен
И горько плачет

На гребнях гор недальних – и в последнем
Прибежище зверей и птиц веселых,
В святой долине,
Где все, что создано еще поет, хотя уже давно мертво!
И ангелы, как пестрые фазаны,
Под лиственными сводами собора
Крылами хлопают. И – как роса

Все его слезы смешаны со светом,
(О, рука об руку – слеза и луч!).
Из черной тучи ли, из глаз проткнутых,
Падут косые ливни слез кровавых,
В них растворяясь, исчезают солнца,
Соскальзывая по Его шероховатым
Морщинам-желобкам –

Тогда черны и слепы небеса...

93. ЭЛЕГИЯ

Он слишком гордым был, чтоб умирать,
А умер он, слепой, совсем разбитый...
Как? Никому на свете не понять!

Отважной гордостью насквозь пропитан,
Холодный, но и добрый человек,
В тот самый темный день в году... И спит он

Сном легким за последним тем Холмом,
Через который перешел когда-то.
Под волнами травы да будет он –

Не меж камней затерянных и голых –
Но юн, и как при жизни был, влюблен:
Пух над стадами тополей весёлых,

А с ним – все то, чего хотел бы он.
Пускай во тьме он не найдет покоя.
И соком смерти не благословлен –

Но взыскан Тем, Кто посадил с собою
Его... В измятой комнате ... Ну да,
Молился я, сев на его слепое

Расшатанное ложе. И вода
Всех смертных рек, кружась в ладони этой
Тут, в доме онемела... А когда

Пал полдень, тьму не отделив от света,
Я корни моря, сквозь его глаза
Отцветшие, увидел... И дыханью,

Сочившемуся из него, сказал:
«Иди спокойно на свою Голгофу!»
Покой. И прах. И добрая земля...



Е. Кассель

Дилан Томас. Жизнь и творчество

(27 октября 1914 – 9 ноября 1953)

Дилан Томас (*Dylan Thomas*) – один из самых значительных англоязычных поэтов 20-го века.

Не только поэт – автор стихов, но еще и поэт – человек, живущий в соответствии с романтическим каноном – поэт – человек богемы, свободный от тяжких жизненных обязательств, поэт – вольная птица.

В некотором смысле Дилан Томас – последний романтический поэт. Романтический поэт – это всегда еще и жизненная роль. В создании своего продуманного образа Томаса можно сравнить с Блоком, Маяковским или даже с Есениным.

В жизни Томаса очень трудно отличить миф от реальности, в его стихах не всегда можно отличить искренность от надуманности.

Если лишить его биографию мифического содержания – болтовни в барах, пьяных дебошей, непристойных выходок, и оставить чистую событийность, то биография уложится в паре страниц.

Именно поэтому писать о нем трудно.

Существует две известных книги о Дилане Томасе, одна написана Полом Феррисом (*Paul Ferris*), вторая Джонатаном Фрайером (*Jonathan Fryer*).

Книга Ферриса – каноническая биография Томаса.

Очень подробная – 399 страниц, включая примечания. Мало того, Феррис еще и биографию Кэйтлин Томас (*Caitlin Thomas*), жены Дилана, написал. И письма Томаса издал.

Он вообще специалист по биографиям. Написал биографию Фрейда, например.

За Дилана Томаса Феррис взялся собственно из-за того, что родился в том же городке Суонси (*Swansea*), что и Томас, только на 15 лет позже.

Книга Ферриса поражает полным отсутствием любви к предмету исследования. Говорят, что люди, изучающие тараканов, начинают их любить.

А тут не таракан – великий поэт, и нет – совсем не любит. Холодная, отчужденная книга, в которой подробно описываются многочисленные томасовские прегрешения. И как он деньги из плохо лежащих кошельков всю жизнь таскал. И как в порядке протеста испражнялся в буржуазных гостиных. И как напивался, и как работать

не желал, и как деньги у благодетельниц выклянчивал, и как не отдавал долгов.

И жена его Кэйтлин не лучше. Все протрачивала на ерунду, а с Диланом в пьяном виде дралась.

И стихов-то Дилан почти и не писал, хотел быть поэтом, а писать было не о чем, вымучивал стихи.

Нет, Феррис не смакует всяческие безобразия, просто в меру своего понимания «объективно» пишет биографию.

Только у читателя, не знакомого с творчеством Дилана Томаса, после чтения такой биографии пропадает желание читать стихи.

К счастью, существует другая известная книга о Томасе – биография, написанная Джонатаном Фрайером.

Вот что пишет Фрайер в предисловии: «Две предыдущие биографии Томаса строились на том, что Дилан Томас – великолепный поэт, и при этом чудовищный человек; однако человека Томаса можно простить во имя искусства. Я же смотрел на предмет моего исследования с другого конца трубки телескопа. С самого начала я себя спрашивал, как человек, бывший таким говном (выражаясь языком Кэйтлин), мог, если судить по самым лучшим его стихам, создавать такие шедевры».

От того, что Дилан Томас был, следуя общечеловеческим представлениям о повседневной морали, совершенно безнравственным, никуда не деться – желательно понять не только, каким образом этот мелкий и безответственный способ поведения нисколько не мешал возникновению гениальных стихов, но и почувствовать, почему всю жизнь рядом с Диланом были беззаветно его любящие люди, готовые всячески ему помогать и все прощать.

Книжка Фрайера очень в этом помогает – к концу ее начинает у читателя шевелиться симпатия к этому пакостнику и безответственному охламону, – понимание, почему люди его терпели и прощали, пускали в свою жизнь и любили.

***

Дилан Томас родился в 1914 году в семье школьного учителя. Он второй и последний ребенок Флоренс и Дэвида-Джона Томасов.

Брак родителей Томаса видится отчасти мезальянсом.

Мать, по воспоминаниям соседей и знакомых, простая женщина из большой семьи Вильямсов. Отец ее работал на железной дороге; она – седьмой ребенок, был еще и восьмой, но умер в подростковом возрасте. Флоренс была младшей и баловали ее не только родители, но и старшие братья и сестры. Красивая, доброжелательная, довольно безответственная девочка. Семья много общалась с родственниками-фермерами. Одна из сестер Флоренс, Анна, и сама вышла замуж за фермера, Джима Джонса (*Jim Jones*); именно им принадлежала ферма «Па-

поротниковый холм», сыгравшая такую большую роль в творчестве Томаса.

Отец Дилана, родившийся в 1876 году, тоже был из семьи железнодорожников, при этом с детства проявлял большие способности, был весьма честолюбив, получил стипендию на обучение в колледже, а после получения степени бакалавра хотел учиться дальше и в идеале стать университетским профессором. Но не сложилось. Может быть, женился чересчур рано, может быть, некоторая склонность к выпивке подвела. Так или иначе, Д. Дж. Томас (*David John Thomas*) стал школьным учителем английского языка. И всю жизнь им оставался.

Безусловно, часть своих нереализованных амбиций он переложил на Дилана.

В Уэльсе уважение к поэзии – важная часть культуры. И уж тем более в семье школьного учителя, мечтавшего то ли о том, чтоб стать профессором, то ли о том, чтоб стать поэтом, это уважение проявлялось. Даже имя Дилан – литературное, так звали одного из незначительных персонажей валлийского романтического эпоса. Дилан – дитя волн, ребенок с пышными золотыми волосами.

Дилан был любимым балованным ребенком – он был болезненным и умело этим пользовался. Флоренс очень опасалась туберкулеза, так что при любой простуде укладывала мальчика в постель, поила горячим молоком и кормила размоченным в нем хлебом.

Томас вырос ипохондриком, туберкулез, от которого пристало умереть поэту, был частью его легенды. Он любил рассказывать знакомым, что болен.

Нэнси, старшая сестра Дилана, очень рано начала ссориться с ним, что вполне понятно: Дилан, избалованный до невозможности младший брат, вел себя безобразно – таскал из кошелька деньги, однажды стащил у нее любимый шарфик, кривлялся. Вполне вероятно, что эта детская безнаказанность и избалованность наложили немалый отпечаток на Томаса – что именно в детстве корни его убежденной безответственности.

Стихи Дилан начал писать очень рано, лет в 8-9. Естественно, они были подражательными. Флоренс довольно быстро поняла, что для того, чтоб удержать Дилана дома в плохую погоду, оградить от сырости и ветра, достаточно снабдить его бумагой.

В школе Дилан уделял внимание только английскому языку и литературе, прочие предметы он совсем не учил. Отец относился к этому весьма снисходительно – наверно, потому, что всепоглощающая страсть Дилана к литературе отражала его собственную.

Маленький, похожий на девочку Дилан не знал удержу в драках – он кусался, щипался, царапался.

Как ни странно, после одной из драк началась дружба Дилана с одноклассником Дэном Джонсом (*Daniel Jones)* – будущим композитором и музыкантом. Драка закончилась вничью, и они вместе – один с

разбитым носом, а другой с синяком под глазом, побрели домой. Дружба эта длилась всю жизнь.

Дэн не был единственным школьным другом Дилана, были еще мальчишки, с которыми Дилан болтался по берегу, вглядываясь в песок в поисках то ли золотых часов, то ли записки в бутылке от потерпевшего кораблекрушение. С теми же мальчишками, став чуть старше, Дилан исследовал злачные места Суонси.

Важным событием было Рождество. В дом Томасов съезжались родственники. Подарки, елка, омела – у Томаса есть чудесная проза «*Детство, Рождество, Уэльс*» («*A Child's Christmas in Wales*»). Ритмическая, она качает на волнах и засыпает снегом, который по воспоминаниям Дилана всегда в Рождество шел.

В доме Джонсов Дилан познакомился с современной поэзией. Вкусы Д. Дж. Томаса были очень классичными, а у родителей Дэна была отличная современная библиотека.

Первое стихотворение Дилана Томаса было опубликовано в школьном журнальчике, когда ему было около одиннадцати. Оно написано от лица собаки, которой очень хочется укусить кого-нибудь за голую ногу. Любопытно, что одно из любимых представлений Томаса в барах было «собачье» – он становился на четвереньки и с лаем кусал присутствующих за ноги. А со вторым опубликованным стихотворением случился конфуз.

Дилан послал стихотворение «*Реквием*» в «настоящую газету» – «*Western Mail*». Стихотворение напечатали, Дилану за него даже заплатили. И только через 20 лет после смерти Дилана, когда Дэниел Джонс напечатал его в подборке среди других стихов, выяснилось, что это плагиат. В основе лежало стихотворение «*Похороны птички*» известной детской поэтессы Лилиан Гард (*Lillian Gard*)

Трудно понять, зачем Дилану, столько писавшему, нужно было брать чужое. Скорее всего, тут присутствовало преследовавшее его всю жизнь желание идти до края – сойдет – не сойдет. Сошло.

В 1931 году Дилан закончил школу. Вопроса об университете не вставало. Собственно говоря, кроме литературы, Дилан не интересовался ничем, и не пытался даже прикладывать минимальные усилия к тому, чтобы сносно учиться. Д. Дж. Томас помог Дилану устроиться учеником репортера в местную газету – «*South Wales Evening Post*». Собственно говоря, это была единственная попытка Дилана заработать на жизнь не литературой. Успехом она не увенчалась, его выгнали за то, что он даже не пытался оказываться в нужном месте в нужное время. Официальным поводом к увольнению послужило незнание Диланом стенографии, неофициально же ему объяснили, что журналиста из него никак не получится.

В 1933 году Дилан начал лепить образ поэта.

Он во всем романтик. В представлении о поэте тоже, в смеси высокомерия и наивного самолюбования. Поэт – существо, которому все простится, все можно и должно, кроме одного – нельзя ходить на

службу, деньги зарабатывать, жить среднестатистическим членом общества.

Возникает впечатление, что Томас пьянствует и дебоширит не для удовольствия, а даже и почти что по обязанности.

Не Томас придумал этот образ поэта, он только надел маску, и она пришлась впору. Возможно, все началось с Катулла. И не кончится, вероятно, никогда. Читая о томасовских безобразиях, я вспоминала ленинградские семидесятые, некоторую часть представителей *второй культуры*. Нет, все было намного мягче – только окурки на полу, груды немытой посуды, и таскали только книги, да долгов не отдавали, и еще были люди, которых всегда можно было найти в «Сайгоне»[1] – за столиком, в ожидании, чтоб за кофе кто-нибудь заплатил. Понятно, опаздывали, не доходили вовсе до места назначения – идет А к Б, встречает по дороге С, вместе с С идет к Д, А все ждет и ждет, пока не плюнет.

Естественно, для того, чтоб жить в соответствии с образом, в идеале юному Дилану нужно было уехать из Уэльса. Но не так это было просто.

Дилан жил с родителями, что, конечно, очень облегчало материальную сторону быта. В Суонси он, кроме того, был окружен друзьями, обласкан. Новые знакомые Берт Трик (*Bert Trick)* – бакалейщик, социалист и поэт (такое вот поразительное сочетание!), на 16 лет старше Томаса, и его жена Нелл, игра в местном театре, тогда еще инфантильные безобразия в пабах – все это делало жизнь Дилана в Суонси вполне приятной.

В феврале 1933-го умерла тетка Анна, сестра Флоренс, та, которая жила на ферме «Папоротниковый холм».

Дилан, примерявший маску циника, написал приятелю Тревору Хьюзу (*Trevor Hughes)*, что смерть ее ему совершенно безразлична. Есть тетка – нет ее – какая ему разница, только вот жаль, деньги два раза в год некому теперь посылать. Как тут не вспомнить «*я люблю смотреть, как умирают дети*».

Этой же тетке Анне посвящено стихотворение «*После похорон*». Очень интересно сравнить два варианта – один, из записных книжек, написанный вскоре после похорон, подчеркивает лицемерие ее оплакивающих. А потом, через 6 лет, в 1939 году, в сборнике «*Карта любви*» появилась новая редакция – полное любви и памяти стихотворение, обращенное к умершей.

Берт Трик пытался пробудить интерес Томаса к политике. Нельзя сказать, что Дилан совсем не замечал нищеты вокруг, это же было время депрессии, не замечал возникновения фашизма, – замечал, конечно, но был чрезмерно эгоцентричен, чтобы всерьез думать о других. По сути его увлекала только одна социалистическая идея – госу-

---

[1] Кафе в Ленинграде на углу Невского и Литейного. Там в 60-80-ые собиралась литературная и окололитературная публика.

дарство могло бы позаботиться о поэтах и художниках, чтоб те горя не знали и не зависели от семьи и друзей.

В 1933 году в жизни Томаса произошло несколько событий. Он напечатал поразительно зрелое для восемнадцатилетнего человека стихотворение (одно из лучших) «*И безвластна смерть остается*» в « *New English Weekly*».

И безвластна смерть остается.
Пусть не слышно им крика чаек,
И прибой к берегам не рвется,
И цветок не поднимет венчика
Навстречу стуку дождей,
Пусть безумны, мертвы как гвозди –
Расцветет их букет железный,
Сквозь ковер маргариток пробьется,
И пока существует солнце –
Безвластна смерть остается.

В этом стихотворении, в отличие от большинства томасовских стихов того времени, нет темных мест, оно звонкое, жестко построенное, страстное. Спустя некоторое время, через Дэниела Джонса он познакомился с Виктором Ньюбургом (*Victor Neuburg)*, литератором, ведущим страничку «*Уголок поэта*» в «*Sunday Referee*». Виктор Ньюбург напечатал «*Та сила, что цветы сквозь зелень подожжет*». И не только напечатал, но и объявил лучшим стихотворением, опубликованным в «*Уголке поэта*». В 1933 году тяжело заболел отец Дилана, у него обнаружили злокачественную язвочку во рту; благодаря тому, что поймали вовремя, все обошлось, Д. Дж. полностью излечился. Склонный к драматическим эффектам Дилан сообщал знакомым, что у его отца рак горла, и что смерть за углом. Наверно, именно болезнь отца подогрела и так постоянно тлеющий у Дилана страх смерти, идущий рука об руку с мыслями об ее неизбежности. Отсюда и «*Та сила, что цветы сквозь зелень подожжет*». Сила, выталкивающая цветок в жизнь, – это та же сила, которая его уничтожит.

Та сила, что цветы сквозь зелень подожжет,
Творит и зелень юности моей.
Она и корни всех деревьев оборвет,
Да и меня разрушить норовит.
Ну, как я розе, согнутой ветрами,
Скажу, что та же лихорадка ветра
И мне сгибает юность? –
Ведь немота моя не разрешит!

В том же 1933 году Дилан познакомился с Памелой Хэнсфорд Джонсон (*Pamela Hansford Jonhnson)*, тогда начинающим поэтом, протеже Ньюбурга, потом известным прозаиком. Памеле был 21 год, она жила с матерью в Лондоне; прочитав стихотворение «*Чтоб сохранить рассудок» («That sanity be kept*») в том же «*Уголке поэта*», она написала Дилану восторженное письмо. Началась переписка, обмен фотографиями, роман. Дилан много врал в письмах, или, может быть, лучше сказать, выдумывал, даже про свое имя сказал, что оно означает «князь тьмы» В марте 1934 года Дилан приехал в Лондон и остановился у Памелы с матерью. Все было исключительно прилично. Разговоры, пиво в нечрезмерных количествах. Потом Дилан приезжал еще; Памела летом 1934-го приехала к нему в Уэльс. Внешне их отношения ничем не отличались от обычного ухаживания – прогулки вдоль берега, оставшиеся на фотографиях – но в Лондоне Дилан не хотел знакомить Памелу с другими лондонскими поэтами, с которыми он общался, в Суонси он как-то раз на сутки пропал – ушел в паб и не вернулся. Короче говоря, отношения, едва начавшись, стремительно двигались к концу. Приличная девушка из приличной семьи никак не могла строить отношения с утрированно богемным Диланом.

В 1934 году недовольство Дилана жизнью в Уэльсе достигло точки кипения. Ему казалось, что в Лондоне идет настоящая жизнь, пока он прозябает. Он заканчивал подготовку сборника «*18 стихотворений*», который Ньюбург собирался выпустить. И твердо намеревался поселиться в Лондоне к моменту выхода книги. Такая возможность подвернулась, Дилан поселился вместе с Фредом Джейнсом (*Alfred Janes*), сыном зеленщика из Суонси, студентом-художником на пару лет старше него. Комната, которую снимал Фред, была заполнена смесью грязной посуды, красок, объедков. Уехав из дому, Дилан пустился во все тяжкие – исчезал на несколько дней, бродил по барам, напивался, – работал над легендой. И при этом еще пытался симулировать туберкулез и давал понять всем знакомым, что скоро умрет.

Круг литературно-художественных знакомств все расширялся. Среди людей, окружавших Дилана, были не только ровесники и богемные собутыльники, готовые разделять его времяпрепровождение, появились и люди, влюбившиеся в его талант и готовые всячески ему помогать. Одним из таких людей была Эдит Ситвел (*Edith Sitwell)*, поэт и литературный критик. Она приняла судьбу Дилана близко к сердцу и пыталась давать ему материнские советы – например, уговаривала его найти работу.

Но Дилану было не до работы. Жизнь шла замечательно. Он был принят в обществе и как поэт, и как рассказчик историй в пабах. Обе стези его увлекали. Материально его поддерживали родители и друзья, жил он то в Лондоне, то в Суонси. А 12 апреля 34-го года он познакомился с Кэйтлин Макнамарой (*Caitlin Macnamara*), собирав-

шейся стать танцовщицей. Он предложил ей выйти за него замуж в первый же вечер – когда в баре она положила голову ему на колени.

Кэйтлин со стороны отца была родом из ирландской уважаемой семьи. Отец ее первым нарушил установленный жизненный уклад – бросил учиться на юриста в Оксфорде и решил податься в литературу. Женился на полуфранцуженке-полуирландке из семьи французских квакеров под Нимом. От этого брака родились сын Джон и три дочери – Николет, Бриджит и Кэйтлин. Когда Кэйтлин была еще маленькой, ее отец ушел из дому, заведя роман с замужней женщиной. Мать Кэйтлин на некоторое время вернулась к своей матери, потом поселилась в поместье у друга бывшего мужа – совершенно богемного художника Аугустуса Джона (*Augustus John*). У Аугустуса было пятеро детей от первой жены и двое детей от второй. Мать Кэйтлин со своими детьми естественно вошла в эту большую свободную семью. Отец, Фрэнсис Макнамара (*Francis Macnamara)*, нередко приезжал к ним в гости.



Дилан и Кэйтлин

В 1936 году Кэйтлин жила в Лондоне самостоятельно, пользуясь поддержкой Аугустуса Джона, натурщицей и одной из подружек которого она к тому моменту давно уже была.

Кэйтлин, несмотря на всю браваду Дилана, сразу почувствовала в нем неопытность – вероятно, эта неопытность ее и привлекла.

Кэйтлин и Дилан были одинаково неприспособлены к практической жизни, обоим была очень нужна любящая поддержка. Эта схожесть и прибивала их друг к другу, и разделяла.

Ни один из них не мог организовать жизнь, они были детьми без взрослых рядом.

Единственным источником заработка для Дилана было BBC. Он уже начал выступать с поэтическими программами, с чтением своих и чужих стихов.

Про чтение Дилана надо сказать отдельно. Он поет. И поет не так, как иногда поют поэты, слегка подвывая, слегка усиливая – он поет скорее, как поют баллады, как поют кантри. Самые темные его стихи оживают в чтении. Нужно слушать, закрыв глаза и сомнамбулически – нет, не следовать за ассоциациями, это невозможно, а плести свои, петлю за петлей, не заботясь о связности, – найти интонацию, – и отпустить ассоциации с цепи, сверяясь иногда по ключевым словам.

Так что нет ничего удивительного в том, что Дилан достаточно часто выступал по BBC и мог бы зарабатывать вполне прилично, если бы не его редкостная необязательность. Он ничего не сдавал в срок, опаздывал на выступления, просто не приезжал.

11 июля 1937 года Дилан с Кэйтлин поженились. Жить им было негде, и они скитались – то жили у родителей Дилана, то у матери Кэйтлин, то у друзей, то им кто-нибудь оставлял домик на лето.

Примерно тогда же Дилан начал писать и печатать прозу. В 1940 году десять автобиографических рассказов вышли книгой под общим названием «*Портрет художника в щенячестве» («The Portrait of an Artist as a Young Dog*») – парафраз из Джойса («*Портрет художника в юности*»). Отрывочная автобиографическая проза – высвеченные прожектором детские воспоминания. Проза поэта, если понимать под поэзией способ видения. В поэтике Томаса очень чувствуется кельтская основа – она в некой кажущейся иррациональности ассоциаций, за которыми часто стоят мистические образы кельтской культуры, и в «*Портрете художника в щенячестве*» эта кельтская основа особенно чувствуется.

В своих скитаниях по друзьям и родителям Дилан и Кэйтлин нашли место, где в идеале они хотели бы жить – в Лохарне (*Laugharne*) в Уэльсе – в маленьком городке на берегу моря, в устье реки.

В апреле 1938 года они сняли там рыбацкий домик – первое в их совместной жизни жилье. Домик назывался «*Эрос*» – крошечный, с двумя спаленками, без ванны и с сортиром на улице.

Первым гостем в «*Эросе*» был Вернон Уоткинс (*Vernon Watkins)*, влюбленный в Дилана молодой поэт, тоже из Уэльса. Уоткинс был одним из людей, прощавших Дилану решительно все за его гениальность.

Довольно быстро Дилан с Кэйтлин перебрались в больший дом – коттедж «*Sea View*». Кэйтлин забеременела. Дилан попросил денег в Королевском литературном фонде (*Royal Literary Fund)*, мотивируя

свою просьбу тем, что он несколько лет по собственной воле жил в бедности на мелкие литературные заработки, но теперь, с беременной женой, он не мог продолжать этот способ жизни. Денег, однако, Дилан не получил.

Вообще-то материальное положение Томаса во многом определялось не тем, сколько он зарабатывал, а тем, сколько они с Кэйтлин тратили. Зарабатывал он довольно нерегулярно, но не так уж и мало – чтения, публикации, премии. Но тратили оба без счета – в пабах, на какие-то малонужные покупки. При этом еду и прочее необходимое покупали в долг, и когда кредиторы начинали волноваться и угрожать, находили кого-нибудь, кто за них заплатит. Фактически так всю жизнь и было.

Как ни странно, Дилан с незнакомыми людьми бывал очень робок, и как часто бывает, робость трансформировалась в хамство. И случалось, что он не приходил на важную для его литературного будущего встречу исключительно от страха.

Один из типичных эпизодов – знакомство с Генри Миллером (*Henry Miller*)[2]. Лоуренс Даррелл (*Lawrence Durrell*)[3] позвал Дилана к себе в лондонскую квартиру специально, чтобы познакомить его с Миллером. В назначенный час Дилан не появился. Потом все-таки позвонил по телефону, и Дарреллу с трудом удалось уговорить его придти. Он очень стеснялся, а в результате Дилан с Генри Миллером очень друг другу понравились.

В этот период жизни Дилан никак не мог решить, хочет ли он жить в Лондоне, или в Уэльсе. В Лондон его тянула увлекательная литературная и социальная жизнь, но в огромном Лондоне ему было неуютно и страшно. Собственно, такое двойственное отношение к Лондону у него было всегда.

В стихотворении «*Если правда, что ослепленная птица*» Лондон представляется Дилану обреченным Содомом.

30 января 1939 года родился старший сын Дилана Ллевелин. Инфантильная безответственность Дилана сказалась и здесь: когда Кэйтлин уехала рожать, он исчез на пару дней из дому. То же самое повторилось и с двумя другими детьми.

Скорее всего, Дилан ревновал к детям, ему от Кэйтлин была очень нужна материнская забота.

Зимой 1939 года Дилан подписал договор на выход смешанной книги стихов и прозы «*Карта любви*». Книга вышла в конце августа. И не пошла. В ней было 7 рассказов и 16 стихотворений, в частности, «*Так вот оно: отсутствие враждебно*» и «*После похорон*». Большая часть стихов были совершенно темными – потоком бессвязных ассоциаций. Об этом написал литературный критик Сирил Коннолли (*Cyril Connolly*), отмечая, что техника Томаса осталась прежней, но книга лишена вдохновения, искусственная.

[2] Генри Миллер (1891-1980) – американский писатель.
[3] Лоуренс Даррелл (1912-1990) – английский писатель и путешественник.

Отчасти неуспех книги можно связать и с тем, что началась война.

У Дилана возникла новая забота. Он очень боялся призыва, необходимо было найти возможность получить какую-нибудь работу, которая обеспечила бы ему службу «на гражданке».

В результате Дилану удалось получить белый билет. Он явился на медосмотр в таком похмельном состоянии и так кашлял, что его освободили.

Дилан психологически не вырос, ему и в голову не приходило стыдиться своего поведения, он вернулся в Лохарн в праздничном настроении – обманул, всех обманул!

И тогда же Дилану пришло приглашение приехать с семейством в поместье Джона Давенпорта (*John Davenport)* – бывшего боксера, бывшего поэта, мужа богатой женщины и покровителя искусств. В поместье жили поэты, музыканты, художники.

Тогда же Дилану впервые предложили писать тексты для радиопередач BBC. Дилан начал регулярно ездить в Лондон и останавливаться у друзей.

Вел он себя, как всегда, безобразно. Причем уже нельзя было списать это поведение на детский инфантилизм. Он продолжал тащить, что плохо лежит. Один раз попытался забрать столовое серебро, но был пойман на месте преступления.

У Давенпортов кончились деньги, и веселая компания распалась. У Дилана с Кэйтлин опять не было дома. Пришлось снова жить у родителей. Дилан в очередной раз начал писать письма потенциальным благотворителям, объясняя, что деньги необходимы ему, чтобы снять жилье, и рассказывая о рабочих планах.

Именно в этот период поведение Дилана и Кэйтлин стало совершенно невыносимым. Ллевелин большей частью жил у матери Кэйтлин, а Дилан с Кэйтлин наезжали в Лондон к друзьям. Впрочем, иногда и с маленьким Ллевелином.

Являлся к кому-нибудь с Кэйтлин и Ллевелином – вечером на такси – и не прогонишь, и за такси приходилось платить. Пьяный справлял нужду в чужой гостиной. Книги ценные воровал и продавал. Чужую швейную машину в ломбард понес, правда, владелица на улице его встретила и остановила. Кидал окурки на пол, падал пьяным с лестниц, не выполнял обещаний, пропадал, не предупредив, клянчил деньги у кого ни попадя...

Таков способ жизни Дилана с Кэйтлин во время войны. Но самое удивительное, что как раз тогда Дилан нашел серьезную работу. Его взяли сценаристом в «*Strand Films*». Алкоголиком Дилан не был. На службе всегда был совершенно трезв. Напивался и буянил по вечерам и не писал стихов – некогда было.

Правда, в августе 1942 года Дилан и Кэйтлин наконец сняли жилье в Челси. С крыши в дождь капало, но все же у них теперь была собственная комната с кроватью, столом и книжной полкой.

3 марта 1943 года у Дилана и Кэйтлин родилась дочка Аеронуи. Как и при рождении сына, Дилан в это время исчез, в больницу зашел один раз, а когда Кэйтлин вернулась домой, то обнаружила грязь и горы немытой посуды. Вечером появился Дилан с приятелями – вдрызг пьяный.

Кэйтлин не ушла от Дилана в это время, скорее всего, из-за влюбленности в дочку, похожую на крошечную копию Дилана, и из-за необходимости о ней заботиться.

Над дочкиной кроваткой развернули зонтик, чтоб на нее не капало в дождик.

Несмотря на все эти заботы, по вечерам Кэйтлин вместе с Диланом отправлялась по пабам в поисках любимых напитков, которые в войну было не так-то легко найти.

Естественно, сценарии документальных фильмов военного времени, часто достаточно примитивных и пропагандистских, не увлекали Дилана. Однако работал он, как ни странно, добросовестно. Время его делилось между работой и выпивкой, но эти две стороны жизни никогда не смешивались. А кинематограф, как таковой, его увлек. Ему очень хотелось принять участие в создании полнометражных художественных фильмов.

В начале 1944 года, когда бомбардировки Лондона опять стали настойчивыми, Дилан и Кэйтлин перебрались из Лондона в небольшой коттедж в Сассексе. Дилану там было скучно, он наведывался в Лондон несколько раз в неделю.

В июле они перебрались в Уэльс к родителям Дилана, которые к тому времени жили уже не в Суонси, а в небольшой деревушке неподалеку, так как отец Дилана вышел на пенсию.

Дилан опять начал писать. Он закончил «*Похоронную церемонию после воздушного налета*». Работал над «*Видением и молитвой*» и «*Стихами в октябре*». Эти обе вещи показывают, что Томас перевернул новую страницу. Они ясные, даже прозрачные. «*Стихи в октябре*», если б не, как всегда у Томаса, ярчайшие ассоциации, можно было бы назвать вещью автологичной. По словам Вернона Уоткинса, Дилан начал писать это стихотворение в 1941 году, к своему 25-летию. А в 1944 ему было уже почти тридцать.

Вполне возможно, что этой найденной простоте способствовала работа над сценариями. Дилан никогда не был равнодушен к возможности общаться при помощи стихов. Он всегда считал, что стихи надо читать вслух. Возможно, что освоение нового сценарного языка, с его некоторой прямотой, подало Дилану мысль о том, что прямота в стихах тоже может способствовать тому, что он сможет более внятно донести то, что он хочет сказать.

В сентябре Дилан и Кэйтлин с детьми перебрались наконец в собственное жилье – сняли маленький домик возле городка Нью-Куэй (*New-Quay*). У самого моря. С сортиром на улице.

Жизнь продолжалась, в общем, такая же как всегда. Наезды в Лондон, подписание контрактов о подготовке книги, фильма или радиопередачи с тем, чтоб потом не сдержать слова, не уложиться в срок, просто не сделать. Но зато если уж передача выходила в эфир, отзывы на нее бывали самые благоприятные. С выпивкой, с ссорами. Обычная жизнь.

Еще до окончания войны, у Дилана возникла мысль или мечта – добраться до Америки. Ему казалось, что уж там-то он разрешит все свои вечные материальные проблемы и мечтал о турне по университетам с лекциями и чтением стихов.

Проблема была в получении визы. У него не было сбережений, одни долги, что означало, что кто-то должен был письменно за него поручиться. Скажем, если бы Гарвардский университет предложил Дилану какую-нибудь временную работу, то визу бы он получил.

В 1945 году ничего из этого не вышло.



Во время всех этих безуспешных хлопот Дилан с Кэйтлин забрали Ллевелина у бабушки и перебрались все вместе к родителям Дилана. Там был написан «*Папоротниковый холм*». Тут Дилану впервые пригодилась его неспособность соблюдать сроки: он настолько задержался с корректурой книги «*На порогах смертей*», что успел поместить в сборник «*Папоротниковый холм*».

В это же время Дилан перестал получать зарплату на киностудии (он работал тогда уже не в «*Strand Films*», а в «*Gryphon Films*», и эта студия закрылась). Основным источником дохода стало BBC. Слушатели Томаса полюбили. Слава его началась с передачи 31 августа 1945 года «*Однажды очень рано утром*». Это был изрядно приукрашенный рассказ о жизни в Нью-Куэйе.

Во второй половине 1945-го Дилан проводил много времени в Лондоне и пытался найти какое-нибудь жилье, где они могли бы жить

вчетвером: Кэйтлин очень обижалась на то, что он оставил ее одну с детьми в Уэльсе.

Рождество 1945 года Дилан и Кэйтлин провели в Оксфорде. Дилан возобновил дружбу с Маргарет Тэйлор (*Margaret Taylor*), женой историка, получившего тогда место в Оксфорде. Ее муж Аллен Тэйлор (*A. J. P. Taylor*) был совершенно не в восторге от того, что Дилан, с которым они тесно общались короткое время в юности, опять появился в их жизни. Маргарет же считала Дилана абсолютным гением, мечтала только о том, чтоб быть ему полезной и, конечно же, была в него влюблена.

И тут в одночасье пришла слава. 7 февраля 1946 года вышла книжка «*На порогах смертей*», сначала тиражом в 3000 экземпляров, а на следующий месяц еще 3000 были допечатаны.

Критик Уолтер Аллен в журнале «*Time and Tide*» написал, что в этой книге Томас вышел на новый виток. Дж. У. Стониер (*G. W. Stonier)* в журнале «*New Statesman*» пошел еще дальше – объявил, что «*Зимняя сказка*», «*Стихи в октябре*» и «*Баллада о длинноногой наживке*» входят в число лучших стихов своего времени. Вита Сэквил-Вест (*Vita Sackville-West)* в «*Observer*» писала о том, что у Дилана поэтическая мощь сочетается с виртуозностью. И наконец Джон Бетджемен (*John Betjeman)* в «*Daily Herald*» провозгласил Дилана не просто лучшим валлийским поэтом, а великим поэтом, безотносительно к Уэльсу.

Слава оказалась для Дилана слишком тяжким испытанием. Неделю он радостно ходил по пабам, улыбаясь пил все, что ему предлагали, и в конце концов попал в больницу. Естественно, пошли слухи, подогреваемые самим Диланом, что у него цирроз печени, но на самом деле доктора обнаружили только нервное истощение.

Будь Дилан хоть немного способней к выполнению обещаний, хоть чуть более ответственен, не будь Кэйтлин сделана из того же теста, что и он, жизнь их могла бы потечь вполне благополучно – BBC давало регулярный доход, признание могло бы способствовать уверенности в себе и некоторому спокойствию.

Но у кого на роду написано быть повешенным, тот, как известно, не утонет. Приходить на BBC вовремя и трезвым Дилану было очень трудно. Естественно, что из-за ненадежности ему давали меньше работы, чем могли бы.

Дилан, застенчивый пай-мальчик с теми, с кем выбрал эту роль, бывал очень груб с начинающими поэтами, не выполнял обещаний, данных собственным старым друзьям, бывал очень высокомерен. В общем, атмосфера скандала ему сопутствовала, и, хотя она и соответствовала представлениям Дилана о поэтической судьбе, она и утомляла тоже.

В 1947 году по настоянию Эдит Ситвел, которая как раз принадлежала к числу людей, видевших в Дилане нежного робкого мальчика,

ему дали очень немалый грант на путешествие по Италии от «*Общества авторов*» («*Society of Authors*»), в котором Эдит Ситвел состояла.

Дилан с Кэйтлин и детьми вместе с сестрой Кэйтлин Бриджит и ее маленьким сыном отправились в путешествие. Сначала они прожили месяц у самого моря недалеко от Рапалло, потом отправились через Рим во Флоренцию и сняли там виллу неподалеку от города. Чтобы удрать от шума и общества, Дилан договорился о том, что будет использовать соседний коттеджик в качестве кабинета. Дилан написал там только одно стихотворение – «*В деревенском сне*».

Сначала Дилан попытался завязать связи с итальянской интеллигенцией, в частности с Эуженио Монтале (*Eugenio Montale*)[4]. Но только вот здесь, в гостях у незнакомых людей, его способ поведения шокировал куда сильней, чем в Англии. Кроме того, итальянцы пили вино, а Дилан пиво. Пиво в послевоенной Италии найти было трудно, и Дилан мог явиться к кому-нибудь на обед с полными карманами бутылок. В доме у Монтале он выстроил эти бутылки перед собой на столе и весь вечер пил.

Пребывание во Флоренции не оказалось для Дилана ни плодотворным, ни полезным.

Когда в июле Томасы перебрались на остров Эльбу, жизнь показалась им веселей. Дети и Кэйтлин наслаждались морем, а Дилан, как карикатурный англичанин, сидел на стуле по пояс в воде и читал газету.

Пока Томасы были в Италии, Маргарет Тэйлор купила для них маленький домик в деревне в Оксфордшире. Дилан часто наезжал оттуда в Лондон, между августом 1947-го и январем 1948-го он сделал 20 радиопередач.

В 1948 году Дилана настигла новая забота. Он никогда не платил налогов, и до тех пор, пока он не начал прилично зарабатывать, это было довольно безопасно. Но с тех пор, как работа на BBC стала довольно регулярной, увиливать от налогов стало почти невозможно.

Маргарет Тэйлор, считавшая себя ответственной за Дилана, крайне обеспокоилась. Ее беспокоило даже не то, что у нее не было денег, чтобы в крайнем случае заплатить штраф – скорее, ей казалось, что проблемы с налоговым управлением могут оказаться последним ударом, после которого Дилан не оправится и перестанет писать.

Так что начала она с того, что нашла хорошего бухгалтера, который сумел сосчитать доходы Дилана. Они оказались очень и очень немалыми. Вопрос о том, что же он делал с деньгами, так и остался открытым. Он давал Кэйтлин очень немного, не помогал друзьям, постоянно попрошайничал, а деньги куда-то уходили. При этом он не играл в карты, не покупал практически ничего. Деньги просто вылетали в трубу, вероятно, во время многочисленных наездов в Лондон на неопределенное время, из-за которых Кэйтлин очень нервничала.

---

[4] Эужению Монтале (1896-1981) – итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии 1975 г.

Дилан писал ей ноющие письма и, приезжая, каялся. Друзьям он говорил, что Кэйтлин лучшая женщина на свете и без нее он жизни не мыслит.

В Лондоне Дилан был членом нескольких клубов для избранных – возможно, деньги уходили на клубные обеды.

Тем временем состарились родители, Д. Дж. Томас, очень нервный, исхудавший, терял зрение. Флоренс сломала ногу и попала в больницу.

Надо сказать, что привязанность к родителям у Дилана всегда была сильной. По отношению к ним долг свой он выполнял, не отлынивая. Когда Флоренс вышла из больницы, Дилан снял родителям маленький коттедж в той же деревне, где жили они с Кэйтлин.

Дилан практически не писал стихов, отношения с BBC обострились, потому что он не выполнял обязательств, ничего не делал в срок. В это же время он получил несколько заказов на сценарии от разных киностудий. Полученный аванс тут же потратил. И опять просил деньги у друзей и знакомых.

Обстановка дома была невыносимая. Пьянство. Раздраженная Кэйтлин ненавидела постоянно приезжающую Маргарет Тэйлор и ревновала к ней. Флоренс не желала понимать, что ее сын пьет сверх меры.

Надо сказать, что Маргарет Тэйлор проявляла большое бескорыстие в своем отношении к Дилану. Она осознала, что Дилан очень тоскует по Уэльсу и стала искать какую-нибудь возможность поселить его в Лохарне, несмотря на то, что при этом географически Дилан оказался бы достаточно далеко от нее.

В конце концов ей удалось найти тот самый *«Дом-корабль» («The Boat House»)*, который сейчас стал весьма посещаемым музеем Томаса, и с которым связаны несколько великолепных стихотворений.

Это дом за городом, в отдалении от всякого другого жилья, в широком эстуарии, где сливаются перед впадением в море три реки. К дому можно подойти по узкой дорожке, по которой не пройдет машина. Несколько ступенек вниз с дорожки ведут в садик, а оттуда крутая тропинка к входной двери. Попадаешь на второй этаж. И крутая лестница вверх на третий и вниз на первый.

Вид из дома на холм сэра Джона, на море, на поля. И в отлив цапли ходят по песку, и другие птицы. Маргарет Тэйлор приобрела этот дом и сдавала Томасам за крошечную плату. Родители Дилана тоже перебрались в Лохарн.

Дилан не работал в доме, он устроил рабочую комнату в бывшем крошечном гараже, – большущий стол у огромного окна, портреты любимых писателей на стенах – Оден, Блейк, Харди, Лоуренс.

Переезд в Лохарн как будто что-то высвободил в Томасе, он опять начал писать. Он работал над одной из лучших вещей – над стихотворением «*Над холмом сэра Джона*». По мнению Вернона Уоткинса, это, может быть, и просто лучшая вещь Томаса. Трагические и одновременно праздничные стихи, в них радость жизни, неотделимая от ощущения ее трагичности. Стихотворение, полное птиц, закатных

красок, воли, моря и обязательной гибели. Оно родилось из пейзажа за окном.



«Дом-корабль» в Лохарне

24 июля 1949 года Кэйтлин родила третьего ребенка – мальчика. Его назвали ирландским именем Колум и валлийским Гаран, что означает Цапля. Колум был легким ребенком, радостным, не крикливым. Он стал любимым ребенком Дилана.

Кэйтлин вспоминает это первое лето в Лохарне, как одно из счастливейших в жизни.

А незадолго до того, как Томасы перебрались в Лохарн, Дилан совершенно неожиданно получил письмо от Джона Малколма Бриннина (*John Malcolm Brinnin*), американского поэта, на два года младше него. Бриннин только что стал директором еврейского поэтического центра в Нью-Йорке. Он очень давно восхищался поэзией Томаса и мечтал пригласить его в США. И вот теперь у Бриннина появилась такая возможность. Чуть ли не первое, что Бриннин сделал, получив новую работу, – позвал Томаса прочесть несколько лекций в поэтическом центре за 500 долларов (по тем временам большая сумма) с оплатой билета.

Томас радостно ответил, что хотел бы приехать в Америку месяца на три, в январе или в феврале 1950-го. Он объяснил в письме, что у него тяжелое материальное положение, и что ему хотелось бы начать зарабатывать деньги сразу и суметь что-нибудь привезти домой. Бриннин приступил к организации лекционного турне Томаса по Америке.

Сначала Дилан рассчитывал поехать с Кэйтлин. Но по мере приближения отъезда стало совершенно ясно, что такую поездку вдвоем им просто не потянуть. У Дилана было запланировано больше сорока выступлений в разных местах, вряд ли можно было рассчитывать, что устроители оплатят расходы на двоих.

Дилан улетел в Нью-Йорк 20 февраля. После большой прощальной пьянки в Лондоне.

Перелет длился тогда 17 часов. С посадками в Дублине, «где-то» в Канаде (в обычном месте на Ньюфаундленде было не сесть, все обледенело) и в Бостоне.

Он пил и, наверно, думал о том, какую из своих разнообразных масок надеть в Америке. Во всяком случае, в дальнейшем его поведение было довольно однозначным: поэт, читающий свои стихи, клоун из паба, талантливый и невыносимый, шокирующий, как Оскар Уайльд.

Дилан прилетел в Нью-Йорк в самый холодный день в ту зиму, было -15 градусов. Бриннин его встретил и, как сам воспоминает, тут же повел в аэропортовский бар разогреться виски с содовой. Потом они поехали в отель на Манхеттене.

Первые три дня Дилан с Бриннином бродили по Нью-Йорку, Бриннин показывал гостю местные красоты: Эмпайр Стэйт Билдинг, Гринвич Вилледж. Было много выпивки и еды, которая человеку из послевоенной Англии должна была показаться превосходной и обильной. А еще знакомства с кучей людей, с литературной нью-йоркской интеллигенцией.

Безобразия разного рода не заставили себя долго ждать. В лифте отеля Дилан устроил свое классическое представление, встал на четвереньки, изображая собаку, и укусил за ногу незнакомого человека. В гостях, когда Дилана спросили, о чем «*Баллада о длинноногой наживке*», он ответил – «*о гигантской ебле*». В другом доме, где собрались писатели, актеры, критики, актриса Рут Форд (*Ruth Ford)*, приехавшая прямо со спектакля, сказала Дилану, чтоб его очаровать, что его фотография стоит у нее на столе. Дилан воспринял это сообщение, как приглашение к роману, и почти что набросился на Рут, которая не чаяла от него отделаться.

В тот же вечер в отеле, куда Бриннин отвез Дилана, произошло еще что-то. Что именно, Бриннин так и не узнал, но в результате Дилана выгнали. Его удалось поселить вместе с его другом, новозеландским поэтом Аленом Кернау (*Allen Curnow)*, одновременно с Диланом оказавшимся в Нью-Йорке.

Первое чтение Дилана – в поэтическом центре на углу 92-ой улицы, принадлежащем ассоциации молодых христиан (YMCA) –

было триумфом. Целый день он плохо себя чувствовал, но, выйдя на сцену, чудодейственно преобразился. Он читал, а люди в зале слушали зачарованно.

После второго, тоже очень успешного чтения в том же поэтическом центре, Дилан отправился с Бриннином к нему домой в Вестпорт.

Читая о Томасе, я все время искала какой-нибудь узелок, за который я могла бы зацепиться и полюбить этого пакостника и обормота. И вот в книге Фрайера наткнулась на один эпизод, происшедший в Вестпорте.

Томас прочел лекцию собакам. Поздно вечером в заснеженном саду. У бриннинской пуделихи была течка, и взволнованные псы со всей округи собрались под дверью. Томас вышел к ним, сел на камушек и рассказал псам, что он и сам такой, что понимает их прекрасно – и – что ж, ребята, делать-то, c'est la vie... Хозяин глядел в окно на Томаса и кружок слушателей с высунутыми языками.

Из Вестпорта Томас отправился в Йельский университет, оттуда в Гарвард. И всюду его чтение имело огромный успех. Вместе с рассказами о его потрясающих выступлениях передавались и истории о его чудовищном поведении в любых гостях и общественных местах. Он приставал к женщинам вне зависимости от их возраста и желания флиртовать, напивался.

Дилан побывал в Айове, где тогда профессорствовал Роберт Лоуэлл (*Robert Lawell*)[5], в Вашингтоне, в Сан-Франциско, заехал в Канаду, в Ванкувер. Писал очень противоречивые письма Кэйтлин. То ругал Америку за ее всепоглощающее стремление к успеху, то писал, что если б они могли все вместе поселиться в Сан-Франциско, это было бы самое большое счастье.

В конце апреля Дилан вернулся в Нью-Йорк. Стало совершенно ясно, что несмотря на то, что ему оплачивали все расходы и платили не меньше ста долларов за выступление, денег домой он привезти не сможет. Бриннин пытался уговорить Дилана не тратить столько, положить деньги на счет, жить на скромную сумму, но все было бесполезно.

Кое-какие небольшие суммы Дилан посылал Кэйтлин, но не больше пятидесяти долларов за раз. И не очень часто. А еще послал ей как-то нейлоновые чулки и сладости Ллевелину в школу.

Характерным образом Дилан начал обвинять Бриннина в том, что он недостаточно щедро покрыл его расходы.

Перед возвращением домой, на этот раз на пароходе, Дилан провел несколько недель в Нью-Йорке. В это время он познакомился с Перл Казин (*Pearl Kazin*) – очень интеллигентной женщиной, которая перешла от преподавания в колледже в журнальный издательский бизнес. Дилан встретился с ней, когда искал возможности публиковать стихи в американских журналах. Перл давно восхищалась

[5] Роберт Лоуэлл (1917-1977) – американский поэт.

его поэзией. У них с Диланом начался роман, оказавшийся вполне серьезным.

Бриннин и Перл посадили Дилана на пароход. В последнюю минуту Бриннин передал Томасу 800 долларов в подарок Кэйтлин.

Как и многие новые друзья Томаса, Бриннин задавал себе вопрос – надолго ли Дилана с его сумасшедшей жизнью хватит.

Кэйтлин встретила Дилана в Лондоне. И все пошло, как до поездки в Америку. Пьянство, хвастовство в пабах, отсутствие денег. Только Кэйтлин начала очень сильно ревновать Дилана к обобщенным женщинам в Америке, а потом и нашла в кармане у Дилана, где она искала деньги, письма от Перл.

А тут еще Бриннин вместе с Перл приехал в Лондон, о чем Маргарет Тэйлор тут же доложила Кэйтлин.

В отношениях Дилана и Кэйтлин возникло нечто новое – они стали драться. Во время одной из таких драк Кэйтлин схватила почти готовый черновик стихотворения «*На белой гигантской ляжке*», порвала его в клочки и выкинула в окно. Ночью ее замучила совесть, и она бросилась в ночной рубашке подбирать обрывки прямо на берегу. Потом она их сложила на кухонном столе.

В январе 1951 года Дилану предложили съездить в Иран, чтобы поработать там над документальным фильмом. Дилан, естественно, ухватился за предложение, сулившее не только какой-то заработок, но и возможность ненадолго вырваться из ставшей немыслимой домашней обстановки.

Из Ирана он писал письма и Кэйтлин, и Перл. В ответ на одно из писем Кэйтлин написала ему, что собирается от него уйти. Дилан ответил, что он хочет умереть, что сидит в гостинице и рыдает, умолял Кэйтлин не уходить.

На самом деле, оба они полностью зависели друг от друга – и материально, и морально. Дилан мог работать, только ощущая стабильность своей связи с Кэйтлин. Для Кэйтлин уйти от Дилана означало признать свое поражение. Да и некуда ей было уходить – только к матери.

Так что все осталось, как прежде.

В 1951 году Дилан написал два очень существенных стихотворения, «*Ламентации*» и «*Не уходи безропотно во тьму*».

Первое – горькие сетования умирающего поэта, которого покидает и сексуальная энергия, и творческая, и жизнь постепенно уходит, как воздух из шарика.

Второе связано с отцом, с его тихим угасанием. Это яростное неприятие смерти, призыв не сдаваться, скрежет зубовный и мужество, ярость, страсть. Очень многие считают это стихотворение одним из лучших у Томаса.

Бриннин еще раз приехал в Англию и на этот раз провел несколько дней в гостях у Томасов. Вернувшись в Америку, он начал готовить следующую поездку Дилана, которая должна была начаться в январе

1952 года. Кэйтлин собиралась отправиться с ним. Она была беременна и решила на этот раз сделать аборт.

Драки с Диланом к тому времени стали рутиной. Создавалось впечатление, что обоим был необходим этот физический выход эмоций.

Тогда же Дилан начал работать над радиопьесой *«Под сенью млечного леса» («Under Milk Wood »)*, потом отложил эту работу, появилось новое стихотворение «*Стихи на его день рожденья*». Стихотворение торжествующее, несмотря на то, что, как всегда у Дилана, смерть в нем присутствует. Но в этом очень прямолинейном стихотворении, прямотой этой напоминающем некоторые стихи позднего Пастернака, такое торжество творческого начала и красоты мира, перед которым смерть становится лишь частностью личной судьбы.

В январе Дилан и Кэйтлин приплыли в Нью-Йорк. Все было, как всегда. Блестящие чтения, пьянство, битье чужой посуды в гостях, драки с Кэйтлин, неразумные траты. Неспособность держать слово, отмены выступлений. Все как всегда.

Когда Дилан с Кэйтлин вернулись в Лондон, Дилана ждали гранки книги «*Избранные стихи 1934 – 1952»*. Книга была посвящена Кэйтлин. Принята читателями она была с восторгом.

16 декабря 1952 года умер отец Дилана, перед смертью он успел порадоваться успеху сына.

Год 1953-й, последний год жизни Дилана, начался плохо. Он был вынужден оборвать чтение на BBC из-за того, что у него сел голос. Во влажном холодном доме в Лохарне у Дилана начались всяческие легочные болезни, из-за обострившейся подагры он почти не мог спать. Давал себя знать алкоголизм, курение. Мучали его и ночные кошмары.

Как всегда, не хватало денег, хотя не так мало было самых разных заработков, включая телевидение.

21-го апреля 1953 года Дилан в третий раз прибыл в Америку – опять морем. Кэйтлин была решительно против этой поездки, но Дилан уговаривал ее, что заработает достаточно денег, чтоб потом поехать на год в дешевую солнечную Португалию.

Практически сразу он познакомился с Лиз Рейтел (*Liz Reitell*) – новой ассистенткой Бриннина – яркой, собранной, даже жесткой женщиной, изучавшей театральный дизайн в Беннингтон-колледже, лучшем гуманитарном заведении в штате Вермонт. Организацией чтений Дилана на этот раз ведала именно Лиз.

Первое чтение было назначено на 3 мая. Дилан должен был прочесть «*Под сенью млечного леса* » в Гарвардском университете. Текст он срочно дописывал в день выступления. Успех был невероятный – Дилан бросил в это чтение всю свою страсть.

Эмоциональное состояние Дилана было очень нестабильным. Он писал любовные письма Кэйтлин, встречался с Перл, все сильней сближался с Лиз.

Потребность в алкоголе тоже была очень неровной – иногда он мог удовлетвориться несколькими кружками пива, иногда поглощал виски и мартини в безумных количествах.

Потом было чтение в Нью-Йорке, тоже очень успешное. Дело в том, что «*Под сенью млечного леса*» – не просто пьеса для актерского чтения, в ней предполагается участие зала, в результате возникает хеппенинг.

Неожиданно к Дилану обратился Игорь Стравинский с предложением совместно работать над оперой. Помимо того, что писать либретто для Стравинского Дилану было бы интересно, предложение было очень соблазнительным материально.

Дилан должен был вернуться в Англию, устроить детей и, забрав Кэйтлин, отправиться в июле в Лос-Анджелес.

Все шло совсем неплохо. И к тому же Дилан и Лиз стали любовниками. Дилану было не так-то просто с Лиз, но, сыграв роль потерявшегося маленького мальчика, он пробудил материнские чувства этой жесткой американки.

2-го июня Дилан вернулся в Лондон. И оттуда в Лохарн.

Обстановка дома была невыносимой. Дилану под любым предлогом хотелось там не быть. Значит, опять отправиться в Америку.

Проект сотрудничества со Стравинским провалился из-за того, что у бостонского университета возникли материальные затруднения.

Бриннин всеми силами уговаривал Дилана не ехать в Америку, считая, что поездка окончательно подорвет его здоровье и творческие возможности.

Дилан настаивал, и Бриннин был вынужден организовать очередное турне.

Последний день Дилана в Лохарне пришелся на 8-ое октября. Он попрощался с матерью и в сопровождении Кэйтлин отправился в Лондон. Еще несколько дней пьянства и невыполненных обещаний.

В Нью-Йорке его встретила Лиз.

Дилан был в ужасном состоянии. Лиз пыталась держать его при себе, отчасти для укрепления их отношений, отчасти, чтобы предохранить от чудовищного пьянства. Он пил, почти не ел, был совершенно болен.

Лиз удалось свести его к своему доктору. Доктор Фельтенштейн *(Feltenstein*), который уже видел Дилана в его предыдущее пребывание в Нью-Йорке, сразу понял, что Дилан находится в еще худшем состоянии, чем раньше. И что советов он не слушается.

Шло саморазрушение. Дилан давным-давно говорил, что до сорока поэт дожить не должен. И впечатление создавалось, что именно приближение этой страшной даты заставляет его намеренно искать смерти. 29-го октября Дилану исполнилось 39 лет.

3 ноября к нему в отель пришел литературный агент и предложил контракт, по которому он должен был получать как минимум 1000 долларов в неделю во время турне.

Это был конец всем материальным затруднениям. Но Дилан был уже не в состоянии даже обрадоваться таким на то время немалым деньгам.

Последние дни жизни Дилана создают впечатление неостановимо несущейся с горы лавины. Ему казалось, что перспектива читать эти лекции – очередная ловушка.

Весь вечер он вспоминал Лохарн.

Потом заснул, проснулся в два часа ночи и сказал Лиз, что ему нужно выйти за глотком свежего воздуха и за выпивкой.

Он ушел на полтора часа, а когда вернулся, рассказал, что выпил 18 стаканчиков виски.

Заснул опять и, проснувшись поздним утром, заявил, что ему нечем дышать. Они вышли вдвоем с Лиз. Выпили пива.

Дилан жаловался, что ему невыносимо плохо. Вернулись в гостиницу. Вызвали доктора Фельтенштейна. Несмотря на успокоительное, лучше не становилось. Началась белая горячка. Ужасы, принимавшие геометрические формы. Доктор приходил еще два раза.

Лиз держала Дилана за руку. Рядом был еще художник Джон Хеликер – доктор Фельтенштейн настоял на том, чтобы кто-нибудь помогал Лиз.

Неожиданно Дилан посинел и потерял сознание. Все тот же доктор Фельтенштейн прибыл через несколько минут. Дилана отвезли в больницу.

Точного диагноза не было – инсульт, диабет, сердечная недостаточность?

Он был в коме, и было совершенно ясно, что если он из нее выйдет, мозг останется поврежденным.

Прилетела Кэйтлин. Лиз уступила ей место в изголовье у Дилана.

9 ноября Дилан умер.

***

Томас написал относительно немного стихов. В каноническое собрание входит девяносто три стихотворения (около ста тридцати стихотворений из записных книжек Томас сознательно не включил ни в одно из изданий). Он не дневниковый поэт. Повседневная жизнь не ложилась у него на бумагу. Каждое стихотворение существует само по себе, имеет определенную тему, стержень, от которого бенгальскими огнями отлетают ассоциации.

Стихи Дилана Томаса, на мой взгляд, довольно отчетливо делятся на три группы.

Стихотворений двадцать абсолютно гениальных и, как ни странно, кристальных. В них Томасу удалось пробиться через косноязычие к

звонкой прозрачности, где ассоциации выстроились в скульптуры из разноцветного стекла. Отпало лишнее, никакой барочности. Смысл заточен в эту искрящуюся жесткость. Что-то от хрустального ножа.

Вторая группа – стеклянные глыбы с переливами света в гранях, расплывчатые картины, скачущие ассоциации, плетущиеся световыми нитями, отскакивающие и отражающиеся. Непроизвольные.

Третья группа – плохие стихи – натужные ассоциации, деланные, подгоняемые романтическим хлыстом. Их спасает только томасовское чтение.

Во второй и в третьей группе, как правило, синтаксиса нет. Смысл крайне темен. Многочисленные комментаторы говорят совершенно разные вещи: одни толкуют об отсутствии связности и смысла, другие занимаются психоанализом. Не без оснований. Томас писал, имея в виду фрейдистское прочтение – так задавал себе темы – ну, а дальше отталкивался – и картина за картиной, слово за слово – цепляются и торопятся. Фрейдистские толкования легко ложатся на стихи человека, который совершенно сознательно рифмует *tomb* и *womb (могила* и *лоно).*

По количеству больше всего стихов, несомненно, во второй группе.

Темные, лишенные синтаксиса строки. Разбегаются отпущенные на свободу ассоциации, и Томас не делает ни малейшей попытки их собрать. Такие стихи надо по возможности сначала услышать.

Восприятие на слух ведь обычно досмысловое – первое ощущение стиха вообще досмысловое – мычание, из которого выскакивают или выплывают (зависит от темпа) отдельные строчки, выхватываются картины, иногда и отношения к сказанным словам не имеющие.

Собственно, с этого начинается любовь – с бормотанья.

Вот, например, маленькая поэма из двенадцати сонетов, «*На полпути в тот дом*».

В первом прочтении, без произнесения вслух, она вызывает ощущение предельно нелогичного набора слов.

Начинаю мычать. Потом читаю вслух – что-то засловесное брезжит, какие-то ассоциации возникают из перечислений – из смеси отца, сына, Адама, лона, рождения, вырастания-эрекции, смерти за углом, кастрированного барана, детского страха на ступенях темной лестницы, ведущей в спальню.

Еще раз читаю – вдруг ударом – отличные стихи со своей железной сонной логикой.

Немедленно возникают проблемы, связанные с переводом. Нельзя оставаться на засловесном уровне, нужно вбить образы во что-то синтаксически возможное.

Обдумывая этот переход с внесловесного на словесный, начинаешь понимать, что загадочным образом – на внесловесном уровне, на котором всегда стихи исходно действуют, Томас очень понятен. Мучителен именно переход на словесный.

По форме многие стихи Томаса чрезвычайно классичны.

Впечатление такое, что он открывает шлюзы и позволяет картинам, возникающим у него в голове, хлестать на бумагу. И этот поток часто заполняет русло строгих форм.

Вот, например, как зрительно развивается образ в «Сказке зимы»:

Время поет. Поет тут и теперь
Над замысловатым круженьем клубящегося снега.
Рука или голос
В минувшую страну распахнули темную дверь,
И пылающей невестой пробудилась, встала
Птица-женщина над землей, над хлебом,
И на груди ее белое и алое засверкало!

Гляди. Танцоры! Вот:
На зелени, заваленной снегом, но все же буйствующей в лунном свете.
(Или это прах голубей?
Вызывающее ликованье коней,
Которые подкованы смертью и топают по этим
Белым выгулам фермы?)

Многие стихи Томаса строятся на рифме *tomb-womb (могила-лоно).* Они по сути сюжетны, причем сюжет достаточно примитивен.

С детства все знают, что самый короткий роман – восточный: «они жили, страдали и умирали».

Строго говоря, вся литература вертится вокруг того, что «живут и умирают», а уж страдания – это кто как.

Можно и иначе – литература бывает о времени, о пространстве, о жизни, о смерти.

Наиболее для меня естественный подход – человек смотрит на пейзаж, на комнату, на яблоко, и за ним видит смысл – те или иные ассоциативные дали. Разговор о смысле жизни и неизбежности смерти.

У Дилана Томаса подход противоположный. Будто бы стихи пишет толстовский Костя Левин, прячущий от себя ружье, чтоб не застрелиться.

Волшебный фонтан отпущенных на волю ассоциаций – из вязнущего в зубах прямого разговора о зачатии, как первом шаге к гробу.

Дорога от зачатия к смерти интересует его именно в своих крайних точках. И быстро наступает момент, когда уже невозможно без смеха читать *womb-tomb (лоно-могила).* Но смех этот возникает во втором прочтении. В первом – только звучание. Волшебные перепевы слов в слова. Ощущений в ощущения. А в третьем захватывает совершеннейшая безудержность ассоциаций. Но во втором – тривиальность –

да, знаем, что родимся, а потом помрем. Но, черт подери, ведь дорога-то хорошая!

Томас – безудержный романтик, поэтому дорога его не слишком интересует, но часто возникает параллельная тема – рождение стиха.

Он непрерывно крутится в этом романтическом и фрейдистском сюжете – рождение маленького гения Дилана – рождение стиха, и здесь-то путь интересен – воспитание стиха, собственная смерть, но бессмертие стиха.

Интересно, что несмотря на обилие цитат, реминисценций хоть из Джойса, хоть из Мелвилла, конечное впечатление от Томаса создается, как от поэта не интеллектуального, а скорее есенинского духа, и даже некоторая местами надуманность в плохих и средних стихах – эдакая с разрывом рубахи на груди.

Плохие томасовские стихи я бы назвала спекулятивными. Вместо бешеной скачки ассоциаций ее симуляция. И очень большая концентрация *tomb-womb* (*могила-лоно*).

Плохих стихов не очень много.

Поэзия – это способ мышления, и в этом качестве штука очень интернациональная. Самые неожиданные переклички через страны и языки возникают.

Томас-Есенин, Томас-Маяковский, Томас-Пастернак.

Есенинская привязанность к родным местам, их идеализация, двойственное отношение к городу – притяжение и отталкивание – город – средоточие неестественности, в некотором смысле вертеп разврата.

А разговор Томаса с собаками во дворе у Бриннина легко относит к «*Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду*».

С Маяковским его роднит ассоциативная безудержность и преувеличенность, да и огромность собственного «я».

Томас вполне мог бы сказать «*Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо*», или «*иду красивый, двадцатидвухлетний*».

А с Пастернаком Томаса сближает пантеизм и способ развития от раннего к позднему этапу.

А. Д. Синявский в статье, послужившей предисловием к изданию Пастернака в «Библиотеке поэта», выделил этот особый способ отношений с природой, пастернаковский пантеизм, как одно из основных свойств его поэтики.

Пастернак:

..У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!»

Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему.

А вот Томас:

На темных камнях в лужицах отлива, негромкие хоры
Мидий, а также цапля, славили берег. Утро меня позвало
Молитвой воды, криками чаек, скрипом грачей,
Ударами лодок о повитую паутиной стенку причала...

Да и ассоциативность раннего Пастернака по сути не менее пунктирна, чем томасовская, переходы образов не вынесены в слова, та же бешеная скачка.

Поздние стихи обоих часто логически построены – удивительным образом эта построенность не мешает ни у позднего Пастернака, ни у зрелого Томаса.

Простота не становится простоватостью.

Четыре основных темы Томаса: детство, смерть, глубинная сексуальность, творчество. Первые две темы очень сильно переплетаются. «*Мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года*». Все четыре проходят через все творчество Томаса – от начала до конца. И проявляются в стихах самого разного уровня.

Вот несколько опорных стихов Томаса, проясняющих его мировоззрение и одновременно тех самых, которые позволяют говорить о Томасе, как о гениальном поэте.

«*Папоротниковый холм*» – почти стих-рассказ, почти сюжетен...

Стих зеленого цвета, – зеленое марево, зелень, пронизанная солнцем, и лошадиные хвосты, летучие лошади, облачные ватные руки времени.

И тут же в голове возникает – Бабель – «*Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони*».

Что ж – пронизывающие мир связи – подтверждение стройности мироустройства.

Географическая привязка этого стихотворения – ферма, принадлежавшая тетке Дилана с материнской стороны. Дилан часто проводил там каникулы. Но вряд ли под этим стихотворением стоит реальность детских воспоминаний. Скорее тут работают идеальные представления.

Детство – такой волшебный мир, существующий в неприкосновенности – будто бы внутри стеклянного яйца, которое потрясешь, и снег идет. Ретроспективный взгляд, придумывающий, как должно было быть. Рай. И время, уводящее из рая.

Но я просыпался, и ферма – седой бродяга –
Приходила обратно с петухом на плече,
в новорожденном дне,
Это были Адам и Дева – небо опять возникало,
Солнце становилось круглее в тот самый день, и –
Оно обновлялось, обычнейшее явленье
Рассвета, когда волшебные кони,
Сквозь возникающее вращенье,
На полях восторженного и всеобщего пенья
Выходили из ржущих зеленых конюшен ко мне.

И это же, уводящее из рая время, не только враг, оно же и держит в ласковых руках.

Когда я был мал и свободен
у времени в милостивых руках,
Когда оно берегло меня – зеленым и смертным,
И пел я, как море поет, в легчайших его кандалах.

Лохарн. Пейзаж Томаса – холодное море, устье реки. Дом-голубятня, нависающий над приливами и отливами. А сбоку холм сэра Джона.

Так называется одно из самых сильных стихотворений Дилана Томаса. На мой взгляд, именно в нем лучше всего проявлены и томасовские основные мотивы, и его видение.

Жизнь, неотделимая от смерти, пожираемая смертью, смертность, придающая жизни особую остроту. Это стихотворение населяют птицы – томасовские хорошие знакомые, думаю, что они были непременной частью заоконного пейзажа – мудрая цапля, певчие птички, становящиеся добычей ястреба. По сути все стихотворение – осмысление пейзажа, а через него – жестокости и красоты существо-вания. Некоторая перекличка с «Осенним криком ястреба» И. Бродского.

Трещат искры и перья.
Праведный холм Сэра Джона
На голову надел черный клобук из галок. Теперь –
К ястребу, огнем охваченному, одураченные
Птички летят увлеченно,
В шуме ветра над плавниками реки,
Где идиллическая цапля
протыкает клювом плотвичек и судачков,
На галечной отмели, поросшей осокой.

Ястреб с виселицы высокой кричит: «Дили-дили,
Поди-ка сюда, чтоб тебя убили!



Лохарн. Холм сэра Джона.

Мощная сексуальность – еще одна необходимая движущая сила томасовской поэзии. Сильнее всего она проявлена в стихотворении «*На белой великанской ляжке*», где сексуальность – неотъемлемая часть пейзажа; единственное, что остается от давно умерших – их страсти, их желания, их жизнь.

Давно заледенели тропы,
по которым этим бабам ходилось,
Под солнцем таким палящим, что впору изжарить быка,
Извивались они на телегах,
где сено пахучее громоздилось,
Так что его клочья взлетали в низкие облака...

Два значительных стихотворения связаны у Томаса с его собственным днем рожденья: «*Стихи в октябре*» и «*Стихи на его день рожденья*». День ежегодного подведения итогов.

В «*Стихах на его день рожденья*» основу составляет тот же пейзаж, что и в «*Над холмом сэра Джона*». Собственно, «*Стихи на его*

день рожденья» эмоционально тоже сильно перекликаются с «*Над холмом сэра Джона*». Только в первом поэт, как и звери, и птицы, прежде всего смертен, подвержен безжалостному времени, уязвим, и радуется миру в этом осознании невечности.

Пока мне рот не забили глиной...

А во втором Дилан вместе с цаплей – созерцатель, философ:

Эта цапля и я стоим перед холмом сэра Джона,
ибо он – судия,
И рассказываем о вине погребального
Колокола и о птицах, с пути совращенных...
Соблаговоли, Господь,
в своем водоворотном безмолвии их спасти, Ты,
Благословляющий пение воробьиных душ!

***

Что касается формы, то Томас в ней предельно свободен.

Он достаточно часто остается в пределах классической просодии, но, ни секунды не сомневаясь, нарушает ее, если того, по его мнению, требует образность,

Томас виртуозен и пишет ровно так, как хочет. К примеру, открывающий каноническую книгу «*Пролог*» построен так, что первая строка этого стихотворения-монострофы рифмуется с последней, сотой строчкой, вторая – с девяносто девятой, третья с девяносто восьмой, и так далее.

Заметить это, естественно, читатель может лишь в самой середине стихотворения, когда рядом стоят рифмующиеся пятидесятая и пятьдесят первая, и, соответственно, пятьдесят вторая рифмуется с сорок девятой, а пятьдесят третья – с сорок восьмой.

Так что подобное построение по сути рассчитано не на читателя, а скорее является игрой, доставляющей удовольствие автору, и только.

Значительная часть стихов Томаса чрезвычайно темна. Он не проясняет поток ассоциаций, скорее даже запутывает его, иногда намеренно.

Вот что пишет известный комментатор Томаса Уильям Тиндалл по поводу стихотворения «На годовщину свадьбы»:

«Мы не можем с уверенностью сказать, о чем это стихотворение, но определенно непонятность этого синтаксически ясного стихотво-

рения все-таки беспокоит нас меньше, чем иные совершенно невнятные стихи».

Собственно говоря, довольно часто комментатор попросту разводит руками и говорит по сути вот что: к сожалению для читателя, в этом стихотворении совершенно непонятен синтаксис – где тут глагол, где существительное – а кто ж его знает. Может, одно имеется в виду, а может, и совсем другое.

Тем не менее, и среди таких вот темных до предела стихов есть очень значительные.

Когда долго продираешься через эту тьму, ломая ветки, напарываясь на сучки, таская камни, нагружая вагоны, злишься и теряешь нить, пытаясь понять, – нужно Томаса попросту послушать.

Он поет и звенит. И оказывается естественным, даже ассоциируется с кантри.

Эта невнятица, зримая и мощная, из которой время от времени вылупялись четкие жесткие внятные кованые страстные стихи.

Такие, как «*И безвластна смерть остается*»:

И безвластна смерть остается,
И все мертвецы нагие
Воссоединятся с живыми,
И в закате луны под ветром
Растворятся белые кости,
Загорятся во тьме предрассветной
На локтях и коленях звезды,
И всплывет все, что сожрано морем,
И в безумие разум прорвется,
Сгинуть могут любовники, но не Любовь,
И безвластна смерть остается...

Это еще одно программное стихотворение. Все томасовское противление – противление смерти, старости, небытию тут высказано страстно и четко, ассоциации не разбрелись веером, а наоборот, стянулись в кулак, и вся мощная зримость тут, пожалуй, управляема.

И тут становится ясной еще одна сторона Томаса – сопротивление – старости, смерти, обстоятельствам, над которыми человек не властен.

Он в высшей степени не готов принять судьбу. И, пожалуй даже, в нежелании принимать судьбу иногда становится почти проповедником – скажем, в стихотворении, посвященном отцу. По форме это стихотворение – вилланелла – одна из самых сложных и изысканных форм, оставшихся от средневековья.

Не уходи безропотно во тьму,
Будь яростней пред ночью всех ночей,
Не дай погаснуть свету своему!

Хоть мудрый знает – не осилишь тьму,
Во мгле словами не зажжешь лучей –
Не уходи безропотно во тьму...

И тут опять возникают параллели с ранним Маяковским – по силе неподчинения порядку вещей.

Томас написал мало стихов, его никак нельзя назвать поэтом потока – человеком, повседневно осмысляющим все с ним происходящее на бумаге. Каждое томасовское стихотворение существует само по себе, фактически без связи с соседями. Почти нет циклов, разделение на книги достаточно произвольно, практически все, что было написано к моменту выхода очередной книги, в нее попадало.

Всю жизнь, как мне кажется, он искал темы, часто не находил. Может быть, эти назойливые повторения *tomb-womb (могила-лоно)* – тоже поиски темы, заколдованный круг страха смерти и обреченности, и в какой-то мере утраченная с детством способность радоваться повседневности – может быть, впрочем, и в детстве ее не было, и «*Папоротниковый холм*», как я уже говорила, – не память, а проекция.

Огромным толчком было приобретение пейзажа Лохарна в повседневную собственность – приливы-отливы – прямо из окна птицы.

Но душевного покоя не принес и пейзаж...

Бессмысленно гадать, что было бы, если б Томас прожил дольше – переключился бы он на прозу, на драматургию, продолжил ли бы писать стихи?

Так или иначе, от него осталось десятка два великих стихотворений, и это очень много.

***

А как же Томаса переводить?

Не так уж часто в русских переводах хороши английские стихи, нередко уходит переливчатая аллитеративность, сложнейшая сплетенность звуков, а появляется топорность формального соответствия – строф, рифм или их отсутствия.

Как вытащенный на берег осьминог. Прекраснейший в воде зверь, глядит печальными глазами, движется с предельной грацией – то махнет щупальцем, то небрежно обовьет камень и сольется с ним. А когда какой-нибудь злодей убивает его из подводного ружья, на берегу оказывается кусок бесформенной тряпки.

И Томас с его глубочайшей звучностью и часто темным смыслом представляет колоссальную проблему для перевода.

Иногда интересно отойти в сторону и представить себе аналогичные проблемы, с которыми сталкивается переводчик русских стихов, например, на английский.

Проблемы смысловые, ничуть не меньшие.

Читая у Дилана Томаса про «*torrent salmon sun*» и пытаясь найти какие-нибудь русские слова, я представила себе, как читает кто-нибудь англоязычный «*Я показал на блюде студня косые скулы океана*» и думает: «*the slant cheekbones of the ocean*» – ЧТО ЭТО?

Вроде бы, ничуть не проще, чем Томас. Единственно, что все-таки синтаксис обычный, фраза с подлежащим и сказуемым, дело упрощается из-за отсутствия в русском языке конверсии.

Перевод темных стихов Томаса никак может быть словесно точным. В. Бетаки переводил их почти по принципу, сформулированному некогда Леонидом Мартыновым: *«Любой из нас имеет основанья добавить, беспристрастие храня, в чужую боль свое негодованье, в чужое тленье своего огня».*

Эти темные стихи представляют возможность для множества довольно различных пониманий, и трудно говорить об «основном» или «точном» истолковании, все они будут более или менее «верными».

Вот, например, стихотворение «*Now*»:

Say nay,
Man dry man,
Dry lover mine
The deadrock base and blow the flowered anchor,
Should he, for centre sake, hop in the dust,
Forsake, the fool, the hardiness of anger.

Now
Say nay,
Sir no say,
Death to the yes,
the yes to death, the yesman and the answer,
Should he who split his children with a cure
Have brotherless his sister on the handsaw.

Now
Say nay,
No say sir
Yea the dead stir,
And this, nor this, is shade, the landed crow,
He lying low with ruin in his ear,
The cockrel's tide upcasting from the fire.

Now
Say nay,
So star fall,
So the ball fail,
So solve the mystic sun, the wife of light,
The sun that leaps on petals through a nought,
The come-a-cropper rider of the flower.

Now
Say nay
A fig for
The seal of fire,
Death hairy-heeled and the tapped ghost in wood,
We make me mystic as the arm of air,
The two-a-vein, the foreskin, and the cloud.

И вот его перевод:

Итак –
Скажи «нет»,
Черствый человек,
Взорви, взорви ту смертную скалу,
Ради любви взорви...
И якоря спасенья
Покроются цветами.
Ты не должен
Во имя установленных порядков
По праху топать, прыгать через прах:
Тот, кто упорством жертвует, – дурак.

Итак –
Скажи миледи-смерти «нет».
Не говори ей «да»:
У ней найдется
И без тебя поддакиватель. Да.
Тот, кто грозился разрубить ребенка,
Свою сестру безбратнюю отправить
Под зубья пил не сможет никогда.

Итак –
Скажи миледи-смерти «нет».
Да, мертвые кричат. Не в этом дело,
Всё это тень.

И ворон, севший наземь,
Рождает слух о гибели всего,
Но восходящий из огня прибой
Крик гребешка возносит над землей.

Скажи ей «нет».
Так падает звезда,
Так мячик пролетает мимо цели.
Так солнечная суть, подруга света,
Над пустотой на лепестках танцует,
С мистическою женственностью слов
Мед собирают всадники цветов.

Итак,
Скажи ей «нет»,
И наплевать
На мохноногость смерти и на призрак,
Что отзывается на всякий стук,
И на печать из апокалипсиса, и...
Мы таинство творим кистями рук,
И крайней плоти контуром капризным.

Вот что говорит В. Бетаки о переводе этого стихотворения и других «темных» стихов Томаса:

«*У переводчика есть десятки слогов, иногда целых слов, рассыпанных по бумаге так же случайно, как бросают кости.*

Есть ритмическая схема, по которой нужно расположить эти фрагменты, сначала сохраняя хаотичность во всем прочем.

На следующем этапе переводчик располагает обрывки по принципу доминирующих настроений, чаще других возникающих при произнесении этих слов и слогов.

Все еще достаточно туманно, хотя уж теперь не полностью случайно, и наконец из перетасовок и выделения доминант вырисовываются стержни (только стержни!) тех или иных мотивов.

Дальше из новых попыток выстроить материал, проявляется уже кое-что крупнее. А именно: доминирующие отдельные образы и цельные мотивы, не противоречащие друг другу.

Они тоже определены господствующим большинством настроений-смыслов, которые теперь, укрупнившись и став почти фразами, находят друг друга не столь уже случайно. Из них уже – вырисовывается мысль.

И постепенно подчиняясь все более властной цепочке образов-мыслей-настроений растет определенность «содержания».

В конце концов все случайное осыпается, и выходит система образов, синтезированная на первом этапе из мелких осколков, затем из все более и более крупных блоков, уже легко и логично сливающихся в один, который и есть воссозданное стихотворение.

Естественно при этом, что на другом языке почти все слова окажутся другими. Но будет воссоздана их иерархическая зависимость и соответственно авторский дух и настрой самого стихотворения».

Иногда проблемы возникали и при переводе чрезвычайно ясных стихов Томаса.

К примеру, «*Церемония после воздушного налета*».

Реквием в трех частях. Для Томаса – очень прозрачное стихотворение.

Только вот в первой части вместо слова «*мы*» (*we*) все время употребляется «*я*» во множественном числе (*myselves*).

Смысл совершенно понятный – не «*мы*», как некое сообщество, где «*я*» - один из многих, а «*мы*», пропущенное через себя, гораздо более личное, – в каждом из людей, образующих «*мы*», – «*я*».

Myselves
The grievers
Grieve
Among the street burned to tireless death
A child of a few hours
With its kneading mouth
Charred on the black breast of the grave
The mother dug, and its arms full of fires.

И вот по-русски:

Горюющий я, – (сколько меня ни есть!), –
Горюем
На улице до смерти сожженной:
Вот
Ребенок, который не дожил ни до какого возраста,
Ибо только едва…
Лежит на груди могильного холмика,
На черной груди
До черноты углей опаленный
(Какой выразительный рот!!!).
Мать могилку вырыла,
А в ладошках еще колышутся клочья огня.

Еще один вопрос, возникающий при переводе современных англоязычных стихов – как быть с рифмовкой.

Довольно часто переводчики принимают за верлибры то, что ими отнюдь не является. Не обращают внимания не только на аллитерации, но и просто на разбросанные нерегулярные рифмы. В результате по-русски уходит звучание, уходит структура стиха.

У Томаса рифмы часто приблизительные, к тому же отдаленные на расстояние 5-6 строк, так что их не всегда сразу замечаешь, иногда игровые, консонансные, но нередко и вполне классические.

Чтобы их услышать, нужно обязательно прочесть стихотворение вслух. Расположены они в строфе обычно нерегулярно. Получается огромное звуковое разнообразие, которое ритмикой напоминает то акцентный (чисто тонический) стих Маяковского, то логаэды раннего Пастернака, а иногда – даже и раёк...

По сути стих Дилана Томаса часто дисциплинирован и нередко классичен.

Иногда в стихотворении, написанном в основном четверостишиями с обычной перекрестной рифмовкой, попадается «гейневская рифмовка», т.е. рифмуются только четные строки, иногда вдруг рифмуются только нечетные, и ухо с непривычки не улавливает рифмы. Бывает, что рифма отсутствует там, где ее ждешь, и выскакивает там, где ее никак не ждали – где-то через пять или семь строчек... Или вообще как бы случайно, где ей вздумается. Случайность, конечно же, мнимая: рифмы у Дилана Томаса как правило усиливают наиболее важные для автора места.

Томас употребляет и виртуозно-точные рифмы, и предельно банальные, и приблизительные, размещая их в самом произвольном порядке. Иногда ожидаемая рифма уступает место ассонансным или аллитерационным созвучиям. Бывает, что у стихотворения в 14, 13 или 15 строк с пунктирными исчезающими рифмами присутствуют структурные и композиционно-логические признаки сонета (тезис, антитезис, столкновение, вывод). И есть у него даже один сонет, полностью написанный белым «шекспировским» стихом... И все-таки сонет!

***

Говоря о переводах, имеет смысл различать формальную близость к подлиннику и верность подлиннику. Для обозначения формальной близости можно употребить слово «точность».

У переводчиков в ходу выражение: «*дальше от буквы, ближе к духу*». Но дух – малоопределимая вещь...

Переводить Томаса близко к тексту совершенно невозможно. Нельзя заменить английскую синтаксическую невнятицу русской, да еще и с употреблением тех же слов.

Разлетающиеся вольно ассоциации несут по-английски дополнительные нагрузки, связанные с аллитеративностью, со звучанием, дающим определенное эмоциональное содержание.

Достаточно послушать чтение самого Томаса, и становится ясно, что звучание для него – один из доминирующих признаков стиха.

Редкие рифмы, как бы абсолютно случайно рассыпанные по стихотворению в беспорядке – эти рифмы вовсе не случайны, и музыкальный строй стиха несет тут больше эмоциональной, а с ней и смысловой информации, чем синтаксис, которого зачастую в разбушевавшейся стихии Томаса вообще нет, и «случайность», полнейшая неожиданность, максимально произвольное появление или исчезновение рифм необходимо во что бы то ни стало сохранить. Пусть не на тех же самых местах, но в той же степени, потому что они работают на эмоциональный строй строк...

Импрессионистические мазки в стихотворении часто бывают важнее последовательности картин... Эти мазки есть и в переводах, часто не в том порядке, в каком они у автора.

Итак, Томас – это крайний случай той поэзии, которая в переводе может потерять всякое подобие верности именно из-за сохранения вербальной точности.

В каждом стихотворении есть главное, то, что непременно надо сохранить при переводе. У Томаса это чаще всего слышимая интонация, несущая настроение, и гораздо реже – зримая картина.

При переводе Томаса можно жертвовать последовательностью расстановки фраз, порядком расстановки образов... Важно создать у русского читателя настрой, сходный с тем, какой испытывает английский читатель при чтении оригинала. Стих должен вызывать у читателя-слушателя те же или близкие эмоции. Настроения. И в конечном счете даже мысли, которыми так странно и так неканонично делится с нами Томас.

Переводы Томаса могут казаться далекими от буквы подлинника, и при этом передавать его настроение, интонацию часто без видимого сходства слов и даже фраз.

Дилан Томас – поэт, которого можно переводить максимально вольно, но не своевольно, переводчик должен быть предельно и подчиненно близок к эмоциям автора, ни на миг их от себя не отпуская, а прочие компоненты стиха только подчиняя эмоциональному настрою. Для того чтобы быть не внешне, а по всей лирической сути близким к автору.

То есть перевод Томаса должен быть самым вольным переводом, какой можно представить себе. И вместе с тем оставаться переводом *именно этих, а не каких-то иных стихов...*

Василий Бетаки в своих переводах следовал вышеизложенным принципам.

***

Дилан Томас – не только поэт, Дилан Томас – это поэтическая легенда. Дилан Томас – поэт рубежа. Граница классической романтической поэзии и поэзии современной. Без него невозможно увидеть пути сегодняшней англоязычной поэзии.

Предания всех времен в мою жизнь вплелись.
И грядущим векам тоже, наверное, предстоит...

Мячик, который когда-то в парке я кинул ввысь,
До сих пор еще не вернулся, еще летит.


Dylan Thomas

КОММЕНТАРИИ

Это издание – перевод всех стихов из канонической книги «Dylan Thomas: Collected Poems 1934 — 1953» («Дилан Томас: Избранные стихи 1934-1953»). Стихи, вошедшие в этот сборник, практически все были отобраны Томасом в 1952 г. Томас неоднократно говорил, что только эти стихи он хочет сохранить для последующих публикаций.

В «Избранных стихах» Томас фактически собрал под одной обложкой все свои предыдущие книги: «*18 стихотворений*» (1934), «*25 стихотворений*» (1936), «*Карта любви*» (1939) без входившей в нее прозы, «*На порогах смертей*» (1946), «*В деревенском сне*» (1952).

В «Избранных стихах» соблюдается тот же порядок расположения стихов, что и в книгах, из которых это собрание составлено.

Кроме отобранных Томасом, в каноническое издание входят два оставшихся незаконченными стихотворения: «В деревенском небе» и «Элегия».

При работе над комментариями использованы комментарии к стихам Томаса, написанные Волфордом Дэвисом (*Walford Davies*) и Ральфом Модом (*Ralph Maud*), а так же развернутые комментарии Уильяма Тиндалла (*William York Tindall*).

Данная книга готовилась к изданию в серии «Литературные памятники», однако публикация ее в этой серии стала невозможной в связи со смертью многолетнего редактора «Литературных памятников» А. Д. Михайлова и самовольными решениями редколлегии.

1. Пролог (Prologue, 1952)

Это последнее законченное стихотворение Томаса. Оно написано как введение в книгу избранной лирики. «Пролог», как и многие другие томасовские поздние стихи, тесно связан с пейзажем Лохарна, ближе всего «Пролог» к «Стихам на его день рожденья».

Основой «Пролога» стало стихотворное неотправленное письмо, написанное Томасом после возвращения из Америки в Уэльс и обращенное к Джону Малколму Бриннину (*John Malcolm Brinnin*).

Напечатано в «*The Listener*» 6 ноября 1952 г.

В стихотворении возникают обычные томасовские темы: сходящиеся и расходящиеся противоположности – жизнь и смерть, море и земля, огонь

и вода. Как метафорический Бог, Томас создает разрушительный потоп, и как метафорический Ной строит ковчег.

Читатель едва ли может заметить странный прием автора: первая строка этого стихотворения рифмуется с последней, – сотой; вторая, соответственно, с предпоследней (99-й) и т.д.; а пятидесятая с пятьдесят первой... Таким образом получилось стихотворение, состоящее из одной строфы в 100 строк! Но увидеть это можно, лишь дочитав до строки №50, которая рифмуется со строкой № 51.

18 СТИХОТВОРЕНИЙ (1934)

Все 18 стихотворений из первого сборника Томаса появляются в «Избранном» в том же порядке, в котором они были напечатаны в сборнике. Они написаны в 1933-1934 годах и относятся к периоду, который сам Томас называл «*womb-tomb period*» (период «лона и могилы»). Это стихи о рождении, смерти, творчестве. Они полны страхов – страха перед войной, страха перед сексуальным опытом, страха перед литературным провалом. Большая часть стихов из этой книги напоминает рассказы Томаса, написанные тогда же или чуть позже.

2. Я вижу летних мальчиков (I see the boys of summer)

Написано весной 1934 г. Томас вложил раннюю редакцию этого стихотворения в письмо Памеле Хэнсфорд Джонсон (*Pamela Hansford Jonhnson*) от 2-го мая 1934 г.

Стихотворение написано после возвращения в Суонси из Лондона, где Томас провел с Памелой Хэнсфорд Джонсон пасхальные каникулы.

Напечатано в «*New Verse*» в июне 1934 г.

Как-то раз, гуляя по пляжу с Бертом Триком (*Bert Trick)*, Томас назвал средних лет служащих, вышедших погреться на солнце, летними мальчиками в их паденье.

Стихотворение написано в депрессивном настроении.

Лето – время осуществления надежд, однако мальчики обречены. Как вероятно и все люди.

Нельзя, впрочем, совсем исключить и социальную трактовку – валлийцы, которых экономический кризис гонит из дому, попадают в Лондон, и Лондон их разрушает.

3. Когда засовы отворились (When once the twilight locks)

Ранняя редакция этого стихотворения датирована в записной книжке 11 ноября 1933 г. На следующий день Томас послал его Памеле Хэнсфорд Джонсон. Перед публикацией, в марте 1934 г., стихотворение было сильно переработано.

Напечатано в «*New Verse*» в июне 1934 г.

Лирический герой этого стихотворения – создатель: отец, Бог, поэт – все они вместе. Как и у Джойса, художник – Бог созидания, отец всего существующего. Его творение, таким образом, может быть Адамом, сыном, Божьим сыном, стихотворением, инструментом созидания (словом или фаллосом), или же проекцией собственного «я».

Тема этого стихотворения – созидание. Создавая стихотворение внутри стихотворения, Томас сводит созидание к стихотворному творчеству. Как часто бывает у Томаса, лирический герой одновременно сам Томас – мальчик и поэт, создатель, создание и строгий критик. Можно усмотреть в этом стихотворении пародию на молодого Томаса, написанную молодым Томасом.

Последняя строфа – совет самому себе. В сущности борьба Томаса за ясность началась даже раньше, чем это принято считать.

4. Процесс раскручиванья непогоды (A process in the weather of the heart)

Датировано 2 февраля 1934 г.

Напечатано в «*Sunday Referee*» 11 февраля 1934 г.

По теме близко к стихотворению «Та сила, что цветы сквозь зелень подожжет».

В ранних стихах Томас настойчиво возвращается к связи между природными явлениями, такими, например, как смена времен года, и человеческой жизнью и смертью.

5. Пока не постучался в плоть я (Before I knocked)

Датировано 6 сентября 1933 г., в середине сентября отослано Памеле Хэнсфорд Джонсон.

Впервые напечатано в сборнике «18 стихотворений».

Томас считал это стихотворение одним из лучших, написанных в то время.

Стихотворение представляет собой как бы голос некой аморфной еще материи, жизненной силы, не принявшей формы, но знающей о жизни и смерти. Возникает параллель с Христом – воплощением всех людей. Лоно Марии и могила Христа – между ними умещается любая человеческая жизнь. Каждый человек проходит заново страдания Христа, и любой человек вызывает жалость. Как всегда у Томаса, речь идет одновременно и о поэте – отце стихов.

Мнета – персонаж из поэмы «Тириел» Уильяма Блейка. Мнета воплощает Афину и Мнемозину – мать всех муз, дочь ее – поэтическая Муза, а племянник – поэт.

6. Та сила, что цветы сквозь зелень подожжет (The force that through the green fuse)

Датировано 12 октября 1933 г.

Напечатано в «*Sunday Referee*» 29 октября 1933 г. После появления этого стихотворения Томас прославился. Многие ранние стихи кажутся подмалевками к нему.

Образность стихотворения восходит к Блейку, в особенности к стихотворению «Больная роза». Сам Томас в это время говорил о влиянии на него Блейка.

Тема знакомая: жизнь и смерть, как естественные явления, связывающие человека с окружающим миром. Сила, которую прославляет Томас, – это сила жизни.

7. И вот он нервы напрягает дико (My hero bares his nerves)

Датировано 17 сентября 1933 г.

Впервые напечатано в сборнике «18 стихотворений»

Томас в этом стихотворении намеренно говорит о том, о чем в приличном обществе говорить не принято.

Это стихотворение о мастурбации. Герой его – то ли «эго» поэта-подростка, то ли его рука, то ли его пенис. Создание подросткового стиха – тоже род мастурбации. В последней строчке речь явно идет о цепочке, за которую дергают, когда спускают воду в унитазе. Тем самым создание стиха, уже описанное как мастурбация, уходит еще дальше в «материально-те-

лесный низ» (Бахтин). Спустить воду в унитазе – значит, очистить. То есть создание подростком стиха очищает голову. Это стихотворение несомненно имеет комедийный аспект.

8. И там где Лик Твой был водой (Where once the waters of your face)

Датировано 18 марта 1934 г.

Напечатано в «*Sunday Referee*» 25 марта 1934 г.

Настроение этого стихотворения отражено в январском письме 1934 г.: «Я хочу забыть все, что я написал раньше и начать заново, с новым ощущением чуда, без моей старой мрачности, избавиться от усложненности, она болезненна».

Одно из самых красивых лирических стихотворений у Томаса, полное музыки, магии и цвета. Поэт прославляет триумф жизни. Как и некоторые стихи Донна, стихотворение построено на единственной метафоре: лоно – это море. Отсюда корабли, дельфины.

9. Да, если б это трение любви (If I were tickled by the rub of love)

Датировано 30 апреля 1934 г. И сразу же отослано Памеле Хэнсфорд Джонсон. В письме к ней Томас говорил, что это стихотворение – лучшее из того, что он написал.

Напечатано в «*New Verse*» в апреле 1934 г.

Тема его – взросление, приспособление к реальности. Оно написано взрослым поэтом о том, что значит не быть взрослым. Тут и ранняя сексуальность, и боязнь неудачи, и страх перед собственными желаниями.

Взросление – испытание и для поэта, и для любого человека.

10. Наши евнуховы сны (Our eunuch dreams)

В записной книжке появляется в марте 1934 г.

Напечатано в *New Verse* в апреле 1934 г.

Томас был не очень высокого мнения об этих стихах. О них неодобрительно отозвалась Эдит Ситвел в своей статье о современной поэзии.

Эти четыре стихотворения иногда называют укороченными сонетами (в каждом из них меньше 14 строк, рифмовка нерегулярна, не проявлены теза и антитеза). Из очень немногих стихотворений Томаса, где явно проявляется социальная тематика. Экономический кризис был в Уэльсе особенно суровым, и Томас не мог его совсем не заметить. Политика и социальные проблемы его не интересовали, но все-таки многие из его друзей были социалистами. Берт Трик пытался обратить к социализму и Томаса. Это стихотворение Томаса даже можно назвать глухо революционным.

11. Особенно, когда октябрьский ветер (Especially when the October wind)

Одно из стихотворений на собственный день рожденья. В первом варианте ветер был ноябрьским. В записных книжках не сохранилось, но скорее всего написано в ноябре 1932 г.

Напечатано в «*The Listener*» в сильно переработанном виде 24 октября 1934 г.

Тематика, как часто у Томаса, – создание стихов. Создание стихотворения – это вызов смерти, и Томас прославляет творчество. Холодный ветреный октябрь, предзимний месяц, заставляющий думать о смерти, это еще и месяц, в который Томас родился.

12. Тебя выслеживало время (When, like a running grave)

Томас считал это стихотворение и «**Я вижу летних мальчиков»** самыми лучшими в сборнике «18 стихотворений». В сохранившихся записных книжках оно отсутствует, было закончено незадолго до выхода книги, так что впервые и напечатано было в «18 стихотворениях». В октябре 1934 г. в письме к Памеле Хэнсфорд Джонсон Томас писал: «Я с напряжением работаю над стихотворением: оно будет длинным; я сочинил уже 50 строчек, мне кажется, это лучшее из мною написанного. Я не думаю, что закончу его к нашей встрече, но прочтешь то, что будет готово».

Это опять подростковое стихотворение, полное отчаяния и желания, за тем и за другим проглядывает смерть. Герой боится любви и безоглядно к ней стремится. Любовь смешивается с поэзией, страх провала и в любви сопровождается страхом провала и в творчестве. Отчаянное осознание своего положения расцвечено юмором и сюрреалистическими картинами.

Джеймс Аббот Уистлер – художник, родившийся в Америке, но живший всю жизнь в Англии (1834-1903). Большая часть его картин написана в серебристо-туманной цветовой гамме.

13. От жара первой страсти до чумы (From love's first fever)

Начато в записной книжке 14 октября 1933 г., закончено через 3 дня.

Напечатано в «*Criterion*» в октябре 1934 г.

Очередное стихотворение о творчестве. Юный Томас – «Художник в щенячестве» (так называется его автобиографический роман) – все время пишет автопортреты. Это стихотворение довольно простое. Написано нерегулярным белым стихом. Оно о жизни поэта – от стихотворения к стихотворению, от замысла к воплощению. Зачатие ребенка параллельно замыслу стихотворения. Ребенок открывает мир во всем его разнообразии. Поэт сводит это разнообразие в некое единое и живое целое.

14. В начале – три луча (In the beginning)

Ранняя редакция этого стихотворения датирована в записной книжке 18 сентября 1933 г. Переработанная появилась в апреле 1934 г. во время подготовки книги «18 стихотворений», где это стихотворение впервые и было напечатано.

Книга Бытия не могла не занимать Томаса, влюбленного в созидание во всех его воплощениях: создание мира, создание ребенка, создание стиха.

В Книге Бытия находят отражение основные вопросы, волнующие Томаса: жизнь и смерть, тьма и свет, хаос и форма, грех, падение, надежда.

В центре этого стихотворения «С*лово*» (Иоанн, **1**.1).

15. Свет разразится там, где солнца не бывает (Light breaks where no sun shines)

В записной книжке датировано 20 ноября 1933 г.

Опубликовано в «*The Listener*» 14 марта 1934 г.

После публикации издатель «*The Listener*» получил целый ряд писем от читателей с жалобами на непристойность.

Сам Томас называл это стихотворение темным.

Комментаторы тоже относят это стихотворение к невнятным. Тут явно присутствует борьба между светом и тьмой, и свет в ней побеждает, но природа света остается неясной, возникают самые разные его источники – светлячок, свеча, день, рассвет, весна.

16. Мне мысли целовал сон (I fellowed sleep)

Этот текст возник из стихотворения в записной книжке под названием «Глаз сна». Оно было почти полностью переделано. Датировано 27 ноября 1934 г. и в значительной степени выражает облегчение после нескольких бессонных ночей. На бессонницу Томас жаловался в письмах.

В центре стихотворения освобождение от Эдипова комплекса – ребенок вырастает и прощает отца. Борьбу между матерью и отцом за бессознательное «я» ребенка выигрывает отец.

Но до реальной взрослости и света полноценного сознания карабкаться еще долго.

17. Приснилось мне в поту (I dreamed my genesis)

В мае 1934 г. Томас отдал это стихотворение вместе с двумя другими издателю, которого он называет мистер Майлс (*Mr. Miles*). Вероятно, это Хэмиш Майлс (*Hamish Miles*), один из издателей « *New Stories*». В письме Томас говорит, что три стихотворения похожи друг на друга по теме и по подходу. Остальные два, вероятно, «Мне мысли целовал сон» и «В начале – три луча». Томас писал издателю, что понимает, что анатомические подробности не всем придутся по вкусу, и что часто они не нравятся и ему самому.

Все эти три стихотворения были впервые опубликованы в «18 стихотворениях».

Томас считал, что «Приснилось мне в поту» написано в валлийских ритмах**.**

Когда он писал это стихотворение, он был сильно обижен на Виктора Ньюбурга (*Victor Neuburg*) за задержку публикации «18 стихотворений», но именно благодаря этой задержке в книгу вошло несколько стихов, написанных между маем и октябрем 1934 г.

Тематика очень обычна для Томаса: рождение, смерть и новое рождение ассоциируются с природными ритмами. Спящий, естественно, поэт. Два раза он умирает и два раза рождается. Оба его рождения связаны с войнами. Для Томаса любое рождение ассоциировалось со смертью, а то, что он родился в 1914 г., несло дополнительный смысл. Он связывал свое рождение с массовыми смертями в Первую мировую войну. Вторая мировая война, неизбежность которой стала очевидной в 1933 г., воспринимается в контексте этого стихотворения, как вторая смерть автора.

18. «Мой мир – пирамида» (My world is pyramid)

Написано позднее окончания последней из дошедших до нас записных книжек. Вероятно, именно это стихотворение Томас послал Памеле Хэнсфорд Джонсон 2 августа 1934 г.

Он писал ей в письме: «У меня оно заняло очень много времени, но во всяком случае сейчас я им доволен. Не то чтобы уж очень доволен, но все-таки доволен». Томас рассчитывал, что его опубликуют в «*New Verse*» в том же месяце, но впервые его напечатали в декабре 1934 г.

В этом стихотворении возникает все та же тема связи лона и могилы, рождения и смерти, и в этот раз поэт попадает в глубину пирамиды. Сначала она кажется совершенно темной, но потом оказывается, что солнце все-таки в нее проникает.

Первая часть стихотворения – размышления о чуде зачатия, вторая – это голос зародыша.

«Или, или, Савахвани!» – «Или, Или, лама савахвани?» – (арамейск. «Боже, боже, за что покинул ты меня?») – последние слова Христа на кресте (Мат. 27:46, Мар. 15:34).

19. Всё всё (All all and all)

Написано позднее окончания последней из дошедших до нас записных книжек.

Впервые опубликовано в «18 стихотворениях».

Одно из немногих томасовских стихов, имеющих отношение к политике и проявляющих его левые убеждения. Грамматически темное, поэтически по мнению Томаса написанное под влиянием Суинберна, оно очевидным образом связывает любовь и революцию в одном радостном крике.

С ослиной челюстью Самсон – Древний герой Израиля Самсон побил ослиной челюстью, подобранной в пыли, тысячу филистимлян – главных врагов Израиля в то время (Суд. 15: 14-15).

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ (1936)

Некоторые стихотворения из этой книги написаны в 1935-1936 гг., но большая часть раньше, одновременно со стихами из «18 стихотворений». Это стихи из записных книжек 1930-1933 гг., хранящихся в университете Буффало.

20. Я вижу свой образ (I, in my intricate image)

В октябре 1934 г. Томас сказал Памеле Хэнсфорд Джонсон, что он все силы тратит на работу над очень длинным стихотворением. К тому времени он написал 50 строчек, которые включил в *«18 стихотворений»* под заголовком «*Тебя выслеживало время*»**.**

Томас продолжал работать над этим стихотворением и в марте 1935 г., уехав на несколько недель в Уэльс, он его закончил.

Это стихи о рождении поэта и о создании стихотворения. Связь рождения и смерти – один из основных томасовских мотивов того времени, ярко выражен в этом трехчастном стихотворении. Очень много образов и символов, связанных с природой.

В конце концов и поэт, и созданное им стихотворение поднимаются к любви и свету.

***Лазарь* –** Друг Иисуса, брат Марфы и Марии, воскрешенный Иисусом через три дня после смерти (Иоан. 11: 1-40).

Уже не в тростниках Моисей… – Пророк Моисей в младенчестве был найден дочерью фараона в корзинке, запутавшейся в тростниках у берега Нила, и усыновлен ею (Исх. 2: 5-10).

21. И преломил я хлеб (This bread)

Датировано 24 декабря 1933 г. При всем пантеизме этого стихотворения оно написано в рамках христианской символики. В окружении темных стихов этого времени оно кажется еще более прозрачным. Хлеб и вино (т.е. причащение) служат здесь аналогией святости природы.

22. И дьявол в говорящую змею (Incarnate devil)

В записной книжке датировано 16 мая 1933 г. и названо «*До того, как мы согрешили*». Впервые во вдвое сокращенном виде напечатано в «*Sunday Referee*» 11 августа 1935 г. под названием «*Стихотворение к воскресенью*». Возможно, что это слегка ироническое название было дано Виктором Ньюбургом.

Сад – Эдем – это место, где произошло падение, но одновременно и место, связанное с созданием. Таким образом, оба начала – доброе и злое, в этом стихотворении присутствуют.

23. Вот насекомое и мир (Today, this insect)

В записной книжке датировано 18 декабря 1930 г., сильно переделано в 1936 г. Томас отослал последнюю редакцию этого стихотворения для публикации в «*25 стихотворениях*» в числе 5 дополнительных стихов 22 июня 1936 г.

До опубликования в книге было напечатано в «*Purpose*» (октябрь-декабрь 1936 г.).

Вот как начинает свой комментарий к этому стихотворению известный исследователь творчества Дилана Томаса Уильям Йорк Тиндал: «Все снова и снова в течение более 20 лет один и в компании других внимательных читателей я обращаюсь к нему и пытаюсь понять его смысл – не является ли это стихотворение только великолепным сочетанием ритмов и звуков».

Вроде бы речь в нем идет о двойственности. С одной стороны, невинная вера, как доверие, а с другой – миф, вместе они представляют собой голову и хвост рассеченного насекомого.

Терпеливость Иова… – см. Иов 1:1-42.

24. Так просто не осеменят (The seed at zero)

Датировано 29 августа 1933 г. В периодике не публиковалось.

Не из самых значительных стихов Томаса. Божественное созидание здесь параллельно зачатию земному. Дева, звезда, ребенок присутствуют и в земном, и в небесном.

25. Не боги лупят в облака (Shall gods be said)

Вероятно, это одно из стихотворений, посланных в «*Poetry*» (Чикаго) в январе 1935 г. Однако опубликовано оно там не было и впервые появилось в «*25 стихотворениях*».

Легкие звучные пантеистические стихи. Не боги, а говорящие камни и произведения искусства – основа нашего мира.

26. Этой весной (Here in this spring)

9 декабря 1935 г. Томас написал Ричарду Чёрчу (*Richard Church*) из издательства «*Dent's*» в ответ на его критику трудных для понимания стихов:

«У меня есть еще немало стихов таких же простых, как те три, которые Вам нравятся». Томас имел в виду стихи из записных книжек. Первая редакция этого стихотворения датирована 9 июля 1933 г. Переработанное, оно переписано в записную книжку в январе 1936 г. Предлагая послать Чёрчу другие простые для понимания стихи, Томас, однако, говорит: «По-моему, они далеко не так хороши, как те, что Вы терпеть не можете».

Четыре времени года, время и вневременная их смена, смертность и бессмертие – вот темы этого стихотворения.

27. Не ты ли мой отец? (Do you not father me?)

Ранняя редакция сохранилась в бумагах Памелы Хэнсфорд Джонсон в Буффало. Вероятно, это не первая редакция, потому что она записана рядом с уже переработанным «*Когда октябрьский ветер*». Эта редакция датируется, по-видимому, 1934 г. Окончательная же редакция датируется 1935 г. и опубликована в «*Scottish Bookman*» в октябре 1935 г. Неопределенный синтаксис затемняет довольно простую тематику: как поэт Томас един с отцом, братом, сестрой. Может быть, и с матерью, которая оказывается музой.

28. Не много выудишь из вздохов (Out of the sighs)

В единое целое здесь объединены два разных стихотворения из записных книжек. Каждое из них из двух строф. Одно написано 7 июня 1932 г., второе 1 июля 1932 г. В записных книжках эти стихи разделены, и нет никаких указаний, что второе стихотворение – продолжение первого. Вероятнее всего, Томас переработал эти стихи в Суонси в Рождество 1934 года.

Впервые раз опубликовано в «*25 стихотворениях*».

Почти автологическое стихотворение о смысле поэзии.

29. Крепче держитесь за старинные минуты (Hold hard, these ancient minutes)

У Томаса были все основания радоваться весне в Суонси в 1935 г. В это время появилось в печати несколько важных хвалебных рецензий на «*18 стихотворений*».

Это стихотворение было опубликовано до «*25 стихотворений*» в журнале «*Caravel*», выходящем на Майорке, в марте 1936 г. Оно опять о четырех временах года. Время настигает летних мальчиков, можно только пытать-

ся его максимально использовать. В яркости и красочности этого стихотворения уже чувствуется зрелый Томас.

30. Да было ль время (Was There A Time)

Первая редакция датирована 8 февраля 1933 г. В последней редакции из 23 строчек осталось 9. Она датирована декабрем 1935 г. До публикации в «*25 стихотворениях*» напечатано в «*New English Weekly*» 3 сентября 1936 г.

Опять о времени. Злодей – это именно время.

31. Итак – скажи «нет» (Now)

Видимо, именно об этом стихотворении Томас в письме Вернону Уоткинсу (*Vernon Watkins*) сказал, что смысла в нем нет совсем. Однако, когда Уоткинс предложил Томасу убрать его из «*25 стихотворений*», Томас отказался.

Написано оно, вероятно, в мае 1935 г. За год до того Томас писал Памеле Хэнсфорд Джонсон, что чистит свои стихи, чтоб во всех них проявлялось их «варварское звучание».

Вероятно, в этом стихотворении Томас для идеальной чистоты звучания пожертвовал смыслом.

32. Но отчего восточный ветер (Why east wind chills)

Датировано 1 июля 1933 г. После редактуры из 50 строчек осталось 26. Последняя редакция переписана в записную книжку 26 января 1936 г. и опубликована в «*New English Weekly*» 16 июля 1936 г.

Детские вопросы о природе вещей получают ответ только в смерти. Поймать в кулак падающую звезду не удается.

33. А сколько бед тому назад (A grief ago)

Датировано январем 1935 г. Томас предложил это стихотворение в два журнала одновременно.

Когда 23 октября 1935 г. оно было опубликовано в оксфордском журнале «*Programme*», Роберт Херринг (*Robert Herring*) из «*Life and Letters To-*

day», которому Томас тоже его посылал, обиделся, и Томасу пришлось срочно найти замену для публикации в этом журнале.

Сюжет стихотворения – разговор зародыша с матерью.

Посох Аарона… – Аарон – брат Моисея, родоначальник священников израильских. Его посох (жезл) превратился в змею по слову Моисея, который показывал фараону свое волшебное могущество, состязаясь с египетскими жрецами (Исх. 7:10), а также чудесным образом расцвел в пустыне миндальным цветом (Числ. 17:1-8).

34. Когда же тот кто служит солнцу (How soon the servant sun)

Опубликовано в «*Programme*» 23 октября 1935 г. Вероятно, это стихотворение было закончено, пока Томас жил у историка Аллена Тэйлора (*A. J. P. Taylor*) в Чешире в мае 1935 г. и передано в оксфордский журнал, благодаря связям Тэйлора.

Одно из двух стихотворений, которые Вернон Уоткинс уговаривал Томаса не включать в «*25 стихотворений*». Однако Томас настоял на том, чтоб оба их поместить.

В мае 1935 г. Томас написал из Чешира Десмонду Хоукинсу (*Desmond Hawkins*): «Я определенно должен расправиться с этими глыбами чувств, выведенных из личных непоэтических, даже антипоэтических комплексов прежде, чем я буду писать дальше, во всяком случае прежде, чем я стану писать лучше».

Очередное стихотворение, где развитие поэта параллельно развитию зародыша. Самокритичный Томас воспринимает себя, как поэта, еще на зародышевой стадии, но надеется прорваться к свету.

35. Из башни слышу я (Ears in the Turrets Hear)

Редакция, опубликованная в «*25 стихотворениях*», практически не отличается от стихотворения из записных книжек, датированного 17 июля 1933 г. 5 мая 1934 г. эти стихи без второй строфы были опубликованы в «*John O'London's Weekly*».

В письме Памеле Хэнсфорд Джонсон от 9 мая 1934 г. Томас называет это стихотворение «ужасающе слабой водянистой безделушкой». Однако же именно его он читал Вернону Уоткинсу, когда тот у него гостил. Его же он послал Томасу Тэйгу (*Thomas Taig*) в качестве одного из двух стихов, наиболее подходящих для чтения вслух.

Амбивалентное отношение к своей изолированности от мира читается в письме Томаса к Уоткинсу от 20 апреля 1936 г.: «Жить настолько, нас-

колько это возможно, в четырех стенах своего собственного мира – не эскапизм, в этом я уверен; это не башня из слоновой кости, а даже если и башня, ты из этой башни можешь понять в окружающем мире больше, чем человек, лично связанный со всей грязью этого мира и с неприятными людьми».

36. Способствуй солнцу (Foster the light)

Это стихотворение навеяно письмом Тревора Хьюза (*Trevor Hughes*), которое тот написал Томасу, узнав о болезни его отца и о страхе Томаса, что и он сам тоже болен. Хьюз писал, что главное – не бояться жить, и сами слова, с которых начинается это стихотворение, *«foster the light»* («способствуй свету») – из письма Тревора Хьюза.

Через 6 недель после получения письма Томас привез это стихотворение Хьюзу в Лондон. В записных книжках оно датируется тем самым днем, когда его получил Хьюз – 23 февраля 1934 г.

Кстати, у Хьюза фраза звучит вот как: «Foster the light and God be with you» («Способствуй свету, и да пребудет с тобой Господь»). Бог фигурирует и в черновике стихотворения: «God gave the clouds their colours and their shapes» («Бог придал облакам их цвет и форму»). Да и в окончательной редакции в последней строфе Бог тоже появляется, только он не назван.

Естественно, в этом стихотворении – множество космогонических ассоциаций, о которых Хьюз и не думал.

Что-то заставляло Томаса много раз переделывать эти стихи. В сентябре 1935 г. он послал готовое стихотворение Десмонду Хоукинсу для того, чтоб тот напечатал его в журнале *«Purpose»*. Однако там оно опубликовано не было, а вместо того появилось в первом номере *«Contemporary Poetry and Prose»* в мае 1936 г.

Вот что говорил Тревор Хьюз, и отчасти эти слова справедливы: «Это стихотворение не из самых важных томасовских стихов, да оно и не могло стать особенно значительным: если бы оно родилось из непосредственной сильной эмоции, у Томаса не возникло бы необходимости столько раз его переделывать».

37. Рука подписала бумажку (The hand that signed the paper)

В записной книжке датировано 17 августа 1933 г. Позже Томас его переработал и без последней строфы отослал Джеффри Григсону (*Geoffrey Grigson*) в начале ноября 1934 г. Напечатано в *«New Verse»* в декабре 1935 г.

В записной книжке это стихотворение посвящено Берту Трику. Трик был активным членом левого крыла лейбористской партии и подталкивал Томаса к политической активности. Так что вполне естественно, что единственное у Томаса политическое стихотворение ему посвящено.

Это стихотворение клеймит любую диктатуру – от современных диктаторов до Бога.

38. Вспыхнет прожектор (Should lanterns shine)

Вероятно, это то новое стихотворение, которое Томас послал Джеффри Григсону в ноябре 1934 г. О нем Томас пишет, что оно лучше остальных. Остальные это, наверно, *«Рука подписала бумажку»* и «*Как мечтал я удрать*». Все три стихотворения были через год, в декабре 1935 г., опубликованы в «*New York Verse*».

Вернон Уоткинс посоветовал Томасу при подготовке стихотворения к публикации в «*25 стихотворениях*» убрать две последние строчки.

Вот они:

Regard the moon, it hangs above the lawn ;
Regard the lawn, it lies beneath the moon.

Смотри, луна висит над лугом
Смотри, луг под луной лежит!

Эти строки показались Уоткинсу подражанием Элиоту, и Томас согласился их убрать.

В окончательной редакции две последние строчки делают стихотворение прозрачным и предвещают последующие стихи Томаса.

Движение и неподвижность, река времени и существование вне времени – вот тематика этих стихов.

39. Как мечтал я удрать (I Have Longed To Move Away)

Первая редакция этого стихотворения датирована 1 марта 1933 г. В этой редакции 41 строчка. 18-летний юнец из Суонси в это время еще живет дома. Оно написано даже еще до первой поездки в Лондон. Томас и мечтает уехать из дома, и страшится этого.

К этим стихам имеет отношение письмо Томаса из Суонси Тревору Хьюзу в Лондон, написанное в январе 1933 г., в котором Томас объясняет, почему

он вел себя так, что его уволили из газеты. «Я боялся медленного, но верного выдавливания моей индивидуальности, постепенного возникновения довольства жизнью – такой, какая есть, – столько-то за неделю, столько-то за то, столько-то за это…»

К 13 января 1936 г. эта первая редакция была перечеркнута, и в записную книжку переписана новая.

К тому времени Томас уже стал молодой знаменитостью, прославившись книгой *«18 стихотворений»*. Он уже жил в Лондоне, и проблема отъезда из Суонси была неактуальной.

Предыдущая редакция была опубликована в *«New Verse»* в декабре 1935 г.

40. Сгрызи же последнее мясо с костей (Find meat on bones)

В записных книжках стихотворение № 46, датировано 13 июля 1933 г. Было отредактировано и сильно переделано в конце января 1936 г. 18 января 1936 г. Томас писал Десмонду Хоукинсу, издателю *«Purpose»*: «Мне кажется, что ничего хорошего у меня сейчас нет, но, наверно, ко времени нашей встречи будет». Вероятно, Томас привез эти стихи в Лондон через месяц. Стихотворение было опубликовано в апрельском-июньском номере *«Purpose»* за 1936 г.

Томас серьезно относился к драматическому диалогу этих стихов, он считал, что они подходят для чтения со сцены.

Диалог прост для понимания. Это разговор старости с молодостью, отца с сыном. Отец, старый циник, дает советы. Сама форма относит нас к Киплингу и Хаусмену. Но, естественно, тут ярко проявлена чисто томасовская образность. Жизнь оказывается сосуществованием луны и солнца. И голос моря включается, как материнский.

41. А горе – вор времен (Grief thief of Time)

Это стихотворение включает в себя куски из двух разных стихов в записных книжках.

Первая строфа из стихотворения, написанного 26 августа 1933 г. Его переработанный вариант датирован августом 1935 г. Томас снабдил этот новый вариант примечанием, в котором говорится, что он работал над стихотворением в Ирландии. Окончательная доработка первой строфы относится к январю 1936 г., когда Томас был в Суонси.

Вторая строфа происходит из стихотворения № 18 из записных книжек, датированного 26 сентября 1933 г.

Эти два стихотворения в переделанном виде были сведены в одно и опубликованы в «*Comment*» в феврале 1936 г.

Одно из самых темных и по образности характерных для Томаса стихов. О неумолимости времени и неизбежности смерти говорится здесь даже, пожалуй, с веселой интонацией.

42. И безвластна смерть остается (And death shall have no dominion)

Одно из тех стихов, которые Томас послал в последнюю минуту, чтобы включить в сборник «*25 стихотворений*».

Вернон Уоткинс вспоминает, что как-то вечером он зашел к Томасу в гости, и тот прочел ему это стихотворение, сказав, что практически уже решил не включать его в сборник – во всяком случае, если он не успеет вовремя внести изменения. Уоткинс стал уговаривать Томаса, что эти стихи включить просто необходимо, что они прекрасны. В результате, Томас в тот же вечер внес в стихи некоторые изменения, Уоткинс называет эти изменения небольшими.

Однако же если Томас прочел Уоткинсу редакцию, появившуюся в «*New English Weekly*» 18 мая 1933 г., то изменения по сравнению с ней немалые. Томас убрал последнюю строфу, укоротил на строчку все остальные строфы и переписал последние строки третьей строфы. Может быть, конечно, он внес эти изменения до того, как прочел стихотворение Уоткинсу. Так или иначе, исходный вариант (стихотворение № 23 из записных книжек) датирован апрелем 1933 г., а новый текст в записной книжке – февралем 1936 г. В редакцию Томас отослал эти стихи только в июне 1936 г.

Берт Трик утверждает, что это стихотворение родилось из соревнования между ним и Томасом на лучшие стихи о бессмертии. Томас начал с библейского текста, но стихотворение получилось более пантеистическое, чем христианское. В основу этого стихотворения положена Пасхальная речь Иоанна Златоуста («Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?»).

Одно из самых знаменитых и сильных стихотворений Томаса. Это реквием по всем умершим и гимн бессмертию, возрождению.

43. Тогда был новоявлен он (Then was my neophyte)

Это стихотворение было в составе отосланной 22 июня 1936 г. последней порции стихов для сборника «*25 стихотворений*».

20 апреля 1936 г. Томас написал Уоткинсу, что у него есть одно более или менее законченное стихотворение, которое он пришлет, когда оно ему «достаточно» понравится.

В это время Томас пытался как-то отделаться от темноты и искусственности в своих стихах. Он часто бывал очень собой недоволен.

Это стихотворение Томас считал одним из лучших в сборнике.

Каждая строфа в нем делится на две части, эти части соединены иногда точной, иногда диссонансной рифмой. Общее движение стиха – от неподвижности к действию. Типичный сюжет – зародыш-рождение-детство – выглядит здесь метафорой томасовской невзрослости. Движущееся время тут, как обычно у Томаса, враг, и жертва времени даже не пытается его использовать.

Молился … о чаше – молением о чаше называют эпизод в Гефсиманском саду (Мат. 26:39).

Он в раковине… – аллюзия на картину Сандро Боттичелли «Рождение Ве-неры».

44. На полпути в тот дом (Altarwise by owl-light)

Эти 10 неправильных сонетов с нерегулярной рифмовкой Томас писал год, с Рождества 1934 г. по Рождество 1935 г. Первые два сонета – это рождественские стихи. В письме Берту Трику от февраля 1935 г. Томас пишет, что как раз закончил два стихотворения и надеется, что они появятся в новом номере «*New Verse*». Ему несомненно хотелось, чтоб они появились в новогоднем номере. Однако же этого не случилось. Возможно, что в последнюю минуту Томас сам забрал эти стихи из журнала.

Первые 7 сонетов были опубликованы в декабрьском номере журнала «*Life and Letters Today*» за 1935 г.

Когда Томас отправил первую порцию стихов Ричарду Чёрчу из издательства «*Dent's*» для включения в книгу «*25 стихотворений*», там было только 6 сонетов из этого цикла.

Среди 23 стихотворений, посланных Чёрчу 17 марта 1936 г., сонетов было 8. Восьмой был напечатан отдельно в «*Contemporary Poetry and Prose*» в мае 1936 г.

В последней порции, отосланной 22 июня 1936 г., были 9-ый и 10-ый сонеты. Они появились в «*Contemporary Poetry and Prose*» в июле 1936 г.

Есть все основания считать, что именно эти 10 сонетов знаменуют окончание раннего томасовского периода.

Вот что пишет Томас Глину Джонсу (*Glyn Jones*) в ответ на его рецензию на «*25 стихотворений*», появившуюся в «*Adelphi*» в декабре 1936 г.: «Вы единственный рецензент, мне кажется, который отметил мои попытки

всеми доступными методами, среди которых столько негодных, вырваться из ритмического и тематического тупика, отойти от этой физически ощущаемой пустой стены, от этих бесконечно повторяющихся упоминаний о лоне и о червях. Но я не жалею, что я довел некоторые вещи до их логического завершения. Это нужно было сделать: результат во многих строчках и стихах должен был так или иначе оказаться просто сумасшедшей пародией, и я рад, что мне удалось спародировать эти черты моих стихов так вскоре после их написания – я тем самым не оставил никому другому этой возможности».

Таким образом, Томас признал, что его ранний стиль изжил себя, стал пародийным. И тем не менее трудно поверить, что этот цикл сонетов – пародия. Вероятно, Томас увидел в них пародию только потому, что почти сразу после их опубликования он осознал, что они персонифицируют тот стиль, который он отнес у себя к прошлому.

Когда в университете Юты 18 апреля 1952 г. Томаса спросили об этих сонетах, он ответил: «Эти сонеты не более чем творения разгоряченного влюбленного мальчика, у которого на подушке мелькают разные тени и образы».

То, что Томас все время принижает эти сонеты, обращает на себя внимание. Они ведь сами по себе очень серьезны. И создается впечатление, что Томас видит в них неудачную попытку последнего утверждения своих уже изжитых методов и своего кредо.

В ответ на критику Ричарда Чёрча, Томас писал: «Я думаю, что знаю, в чем основные недостатки моих стихов: в незрелой чрезмерной насильственной резкости, в ритмической монотонности, в частой полной невнятности, в чрезмерном потоке образов, который ведет к косноязычию. Но я писал каждую строчку с желанием, чтоб ее поняли. Читатель должен понять каждое стихотворение, подумав и почувствовав, а не всасывая его через поры, как это предполагается в сюрреалистических произведениях. Ни одно из моих новых стихов, тех, над которыми я сейчас работаю, не находится под влиянием этого эксперимента, я с ним совершенно незнаком. Вы нашли, и без сомнения справедливо, множество вешей, с которыми Вы несогласны в этих моих последних стихах; я хочу Вас уверить, что все эти недостатки не связаны ни с бездумным следованием интеллектуальной моде, ни с подражанием тому, что при всем моем незнании мне кажется в поэзии неразумным экспериментом».

Так или иначе, существуют люди, считающие эти сонеты одной из томасовских вершин, или хотя бы одной из вершин сборника «*25 стихотворений*». И есть другие, те, кому кажется, что эти сонеты – великолепная неудача.

Что же до их тематики, то естественно, что они опять о Томасе. Томас, как и Джойс до него, вечно сравнивал себя с Христом, с Богом, с дьяволом, так что нечего удивляться разнообразию персонажей. История здесь начинает-

ся с зачатия, проходит через детство и заканчивается написанием и публикацией стихов.

Мандрагоры… – Мандрагора – растение с корнем, напоминающим человеческую фигуру, которому веками приписывались магические свойства: растения кричат, когда их срывают, по древнееврейскому поверью плоды мандрагоры способствовали благополучному рождению младенцев и пр.

Абадон – демон смерти у древних евреев.

Флюгарка на одной ноге… – Как далее становится ясно, это намек на одноногого капитана Ахава, героя романа американского писателя Германа Мелвилла (*Herman Melville,* 1819–1891) «Моби Дик или Белый Кит», которого автор тут как бы отождествляет с Геркулесом (Гераклом)

Рип ван Винкль – герой одноименной повести американского классика Вашингтона Ирвинга (*Washington Irving,* 1783-1859), проспавший волшебным сном семь лет, показавшиеся ему одним мигом. Этот мотив впервые появляется в английском сказании о Томасе–Рифмаче (Томасе Лермонте), знаменитом королевском барде, и об эльфах. Возможно, тут есть отдаленная, но для Дилана Томаса вполне характерная ассоциация с его собственной фамилией.

Вей, вольный Вест! – начало «Оды к Западному Ветру» П. Б. Шелли.

Гавриил – архангел, вестник Бога, образ его в библейских книгах – трансформация образа древенегреческого Гермеса (в Риме – Меркурия), вестника Зевса.

Моби Дик – см. выше.

Энеида – «Энеида» – поэма римского придворного поэта Вергилия, утверждавшая происхождение римских императоров от троянских царей.

Тот глаз от Грайи… – Грайи в греческой мифологии – три чудовища-сестры, у которых был на всех только один глаз. Этот глаз и был похищен Персеем, чтобы заставить грай в виде выкупа за него указать дорогу к острову Медуз.

Джокер (шут) – в некоторых карточных играх карта, заменяющая любую другую по желанию игрока.

«**Молитву начертай на рисовом зерне»** – китайский обычай, позднее перенятый некоторыми европейскими мистиками.

Оцет – старинное название уксуса.

Петр – имеется в виду св. Петр.

***Левиафан* – (**Иов 3:8) – чудовищная рыбина, которую по древнееврейскому преданию в Судный день съест Господь.

КАРТА ЛЮБВИ (THE MAP OF LOVE, 1939)

Из 16 стихотворений, входящих в этот сборник, часть написана между 1937 и 1939 годами, а часть между 1930 и 1933. Чтобы собрать достаточно стихов для книги, Томас опять прошелся по записным книжкам. Многие старые черновики послужили основой для новых стихов.

В этом сборнике стихи значительно «понятней», абстрактные рассуждения о «лоне» и «могиле» заменились куда более определенной тематикой. Отчасти этой смене стилистики способствовала угроза войны и женитьба, у Томаса появились новые заботы и в результате новые темы. В стихах этого времени наблюдается некоторое ослабление четкости ритмического рисунка.

45. Если правда, что ослепленная птица (Because the pleasure bird whistles)

Это новогоднее стихотворение. Оно было напечатано в «*Twentieth Century Verse*» в феврале 1939 г.

Возможно, что именно это стихотворение Томас обещал послать Вернону Уоткинсу в письме от 8 января 1939 г. Он отослал его 4 февраля и очень беспокоился, что стихотворение вышло, может быть, слишком коротким.

«Не заканчиваю ли я его до точки? Нужно ли больше простора, чтоб появился смысл, чтоб стихотворение расширилось?» – писал Томас Десмонду Хоукинсу. «Я намеревался написать более длинное и важное стихотворение, но внезапно остановился, мне показалось, что оно закончено».

Толчком к написанию этого стихотворения послужил приезд Томаса в Лондон в декабре 1938 г. В этот раз Томас увидел Лондон, как Содом и Гоморру, глазами пуританина.

Томас, глядящий через падающий снег назад, на прошедший год, хочет извлечь уроки из прошлых ошибок.

Лотова жена – Уходя с мужем и детьми из обреченного Содома, она нарушила строгий запрет: оглянулась на покидаемый родной город и тут же превратилась в соляной столб (Быт. 19:26).

46. Так вот оно: отсутствие враждебно (I make this in a warring absence)

В сентябре 1937 г., через 2 месяца после свадьбы, Томас написал Десмонду Хоукингу, издателю «*Purpose*»: «Я потерялся в любви и в бедности, и то, что я сейчас пишу, может шокировать. Я могу отдать Вам за гинею одно длинное и очень хорошее стихотворение, шедевр, законченный на этой неделе. Писал я эти стихи два месяца и хочу теперь ими упиться.»

Позже в том же письме он предлагает отдать стихотворение за фунт.

Вероятно, его же Томас предлагал Джулиану Симонсу (*Julian Symons*), издателю «*Twentieth Century Verse*», 22 октября 1937 г.: «Через неделю я смогу предложить Вам длинное стихотворение». А 25 октября он написал Вернону Уоткинсу: «Мое стихотворение все продолжается. Вы получите его на следующей неделе». 28 октября – опять Симонсу: «Я очень скоро отдам Вам стихотворение». 30 октября – Десмонду Хоукингу: «Мне нужно отредактировать это стихотворение. Мне казалось, что все в порядке, пока я не перечитал его сегодня рано утром. Я сейчас над ним упорно работаю. Оно будет готово через несколько дней».

Вернон Уоткинс, который читал эти стихи на разных стадиях написания, получил законченные 68 строчек «Стихотворения, посвященного Кэйтлин» 13 ноября 1937 г.: «Вот после долгого перерыва по-настоящему мое стихотворение».

Томас включил его в число стихов, которые он читал в *«Goldsmith's College»* 27 января 1938 г.

Вот что говорит о нем сам Томас: «Это стихотворение прежде всего документ, рассказ обо всех эмоциональных событиях между приходом и уходом, между созданием и разрушением, между отсутствием и возвращением главного действующего лица рассказа, между войной ее отсутствия и перемирием присутствия, оно о ревности, о ревности, порожденной гордостью и о ревности, убитой гордостью»

Таким образом, Томас очень высоко ценил эти стихи, долго над ними работал, комментировал в письмах, считал очень для себя важными.

Согласится ли с этим читатель, дело другое. Несмотря на все томасовские разъяснения, стихотворение осталось туманным, и оно вряд ли входит в число лучших.

С ослиной челюстью иду… – См. прим. к № 19.

47. Пять деревенских чувств (When all my five and country senses see)

Обсуждая с Ричардом Чёрчем из «*Dent's*» стихи, предложенные для публикации в «*Карте любви*», Томас написал об этом стихотворении: «Сонет, в котором я не уверен, он мне кажется механическим». Это явно переделанное раннее стихотворение (может быть, из пропавшей записной книжки). Томас послал его вместе с еще тремя переделанными ранними стихами в «*Poetry*» в Чикаго, там оно и было напечатано.

Томас написал Уоткинсу: «Мне необходимо переделать одно стихотворение, и мне нужна твоя помощь, только это надо сделать быстро. Можешь ли ты приехать на выходные? Пожалуйста, постарайся, твоя помощь мне необходима». И действительно после визита Уоткинса в эти стихи было внесено несколько изменений.

Сюжетно стихотворение кажется даже тривиальным. Томас вроде бы пытается сказать, что поэтическое видение идет не от разума, а от от сердца и всех четырех чувств. Рука, глаз, язык и ухо создают стихотворение, и как каждое чувство включает другие, так сердце включает все. А то, что видят все эти чувства – это смерть любви.

Изящество этого стихотворения не имеет никакого отношения к изложению достаточно тривиальных идей.

48. Над морем желтым и тяжелым (We lying by seasand)

В записных книжках это стихотворение 29, датированное 16 мая 1933 г.

В одном из писем, написанных несколько позже в 1933 г., Томас описывает место, о котором, вероятно, идет речь в этих стихах – *Worm's Head* (Червячья голова) неподалеку от Суонси.

«Я утром часто отправляюсь на самый конец Говера (*название мыса – Е.К.*) – в деревню Россили – и остаюсь там до вечера. Берег залива там самый дикий, пустынный и мрачный из всех, что я знаю – четыре или пять миль желтого холода, уходящие в даль, в море. И червяк, каменный морской червяк, указывающий на пролив, – воплощение депрессии. На спине червяка каменный стол, покрытый длинной желтой травой»

Если Томас описывал в этих стихах не Червячью голову, то нам придется представить какое-то другое место, вызывающее чувство обреченности, сходное с тем, о котором говорится в этом письме.

Редакция этих стихов, опубликованная в «*Poetry*» (Чикаго) в январе 1937 г. (в «английском» номере, выпущенном Уинстоном Оденом (*W.H. Auden*)[6]

[6] Уинстон Оден (1907-1973) – английский поэт.

и Майклом Робертсом (*Michael Roberts*) [7]), переделана из стихотворения из записных книжек, к которому Томас добавил 8 строчек.

49. Языком грешников, языком праха (It is the sinners' dust-tongued bell)

Это первое стихотворение, написанное Томасом после публикации «*25 стихотворений*» в сентябре 1936 г.

В письме Джулиану Симонсу от 10 ноября 1936 г. Томас пишет:

«Сейчас у меня нет готовых стихов, но думаю, что через неделю, или через 10 дней, будут. Уж к концу месяца точно появятся».

Симонс напечатал это стихотворение в январском выпуске «*Twentieth Century Verse*» за 1937 г.

Эти стихи – возвращение к ранней манере, они темные, неясные. Некоторые критики говорят, что они о черной мессе, которую справляет сатана. Другие считают, что это стихотворение о смене религии. Все это бездоказательно. Так или иначе, перед нами проходят картины ритуалов, огня, воды, разрушения, создания, магии, картины, связанные с сексом, с рождением ребенка. Время и горе в этих стихах возникают повсеместно. Может быть, лучше всего и не пытаться найти в ассоциациях логическую цепь.

50. Дайте маску – скрыться от соглядатаев (O make me a mask)

Вероятно, в ноябре 1937 г. после получения от Д. С. Сэваджа (*D.S. Savage*) манускрипта « *London Letter*», в котором Томас был назван «выдающимся молодым поэтом», Томас получил письмо из чикагского журнала «*Poetry*», редакция просила у него новых стихов. Впервые стихи у Томаса попросили американцы. Он хотел как можно быстрей им что-нибудь послать и поэтому обратился к записным книжкам. Ранняя редакция этих стихов (стихотворение 18 из записных книжек, не датированное, но несомненно относящееся к марту 1933 г.) была перечеркнута Томасом, он записал новую редакцию и датировал ее ноябрем 1937 г.

По сути вторая редакция не сильно отличается от первой. Стихотворение простое, бесхитростное: поэт просит маску, которая позволит ему скрыть свои чувства от окружающих, но даст ему возможность видеть чувства этих окружающих.

---

7 Майкл Робертс (1902-1948) – английский поэт, литературный критик, составитель множества поэтических антологий.

Эти стихи несомненно входят в число «простых и коротких» стихотворений, посланных Вернону Уоткинсу 21 марта 1938 г., с тем, чтоб Уоткинс передал их в «*Life and Letters Today*», где они и были напечатаны в сентябре 1938 г. Журнал «*Poetry*» выбрал это стихотворения для публикации в майском номере, но напечатано оно было только в августовском.

51. Шпиль церкви (The spire cranes)

Томас переработал и отослал Уоткинсу 13 ноября 1937 г. стихотворение 9 из записных книжек, датированное 27 января 1931 г.:

«Я написал еще одно маленькое стихотворение: ничего существенного, даже, может быть, и не очень хорошее: просто занятная мысль, быстро высказанная. Я думаю, мне полезно будет писать короткие стихи в промежутках между моими очень меня утомляющими серьезными».

Напечатано в «*Wales*» в марте 1938 г. и в «*Poetry*» (Чикаго) в августе 1938 г.

В этих стихах шпиль с птицами и колоколами явно служит аналогией поэту и стихотворению. Так что это еще одно стихотворение о поэзии.

52. После похорон (After the funeral)

Написано в память о тетке Анне из «Папоротникового холма».

Томас переписал стихотворение 6, датированное в записной книжке 10 февраля 1933 г. и отослал черновик Уоткинсу 21 марта 1938 г.

В письме от 1 апреля Томас говорит, что он опять переписывает это стихотворение. Законченные стихи появились вскоре после этого письма.

Уоткинс сказал, что стихотворение было завершено второпях, видимо, в апреле 1938 г. Напечатано оно было в «*Life and Letters*» летом 1938 г.

Во вступительном слове, предварившем чтение этого стихотворения на ВВС, Томас сказал: «это единственные стихи, написанные мной о жизни и смерти конкретного человека, которого я знал».

Мы знаем об обстоятельствах смерти его тетки от рака из письма, которое Томас написал Тревору Хьюзу 6 февраля 1933 г., когда пришла телеграмма о том, что тетка умерла. У Томаса в тот момент не было на эту смерть никакой эмоциональной реакции. На него нашел некий эмоциональный ступор. И первая редакция стихотворения как раз это отсутствие реакции и отражает. Окончательная редакция совсем другая.

53. Когда-то был этот цвет цветом обычных слов (Once it was the colour of saying)

Рождественское стихотворение 1938 г. Если оно и не написано в Суонси, то написано с оглядкой на Суонси. Томас послал его Уоткинсу 29 декабря 1938 г.

Это неправильный сонет. В нем 13 строчек. В очередной раз Томас в ярких стихах прощается со своей прошлой манерой.

54. Нет, не от гнева (Not from this anger)

Стихотворение 25 из записных книжек, датированное 20 апреля 1933 г., было сокращено с 42 строчек до 14, переписано в записную книжку, датировано январем 1938 г. и отправлено Уоткинсу 21 марта 1938 г. Оно явно имеет отношение к Кэйтлин. Отказ, гнев не способствуют рождению ни стихов, ни детей.

55. Как сможет выдержать животное мое (How shall my animal)

Томас говорил, что потратил много времени на это стихотворение. Он послал его Уоткинсу 21 марта 1938 г. 30 августа 1938 г. он отослал его для публикации в «*New Directions Annual*» за 1938 г. Оно было также опубликовано в «*Criterion*» в октябре 1938 г.

Это еще одно стихотворение о создании стихов и о томасовской поэзии в целом – родилась ли она уже, или находится ещё в зачаточном состоянии

Ножницы, что над Самсоном... – Самсон потерял свою богатырскую силу после того, как жена его, филистимлянка Далила, подговоренная филистимлянами, остригла ему спящему священные волосы, в которых его сила и заключалась.

«Выше стропила, плотники!» – Призыв старинного общества «Компаньонов, мастеров стропил». Общество компаньонов по своему уставу напоминало масонские ложи.

56. На грубом могильном камне (The tombstone told)

Стихотворение 36 из записных книжек было расширено: вместо одной строфы в нем стало три. Томас переписал его в записную книжку в новой редакции и датировал сентябрем 1938 г. (Лохарн). Томас говорил, что по стилю это баллада. Истоки этого стихотворения в услышанной Томасом

истории о невесте валлийского фермера, которая умерла в свадебном платье.

57. Три тощих месяца (On no work of words)

Стихотворение 8 из записных книжек, датированное февралем 1933 г., было переработано, и последняя редакция датирована сентябрем 1938 г. (Лохарн). Опубликовано в «*Wales*» в марте 1939 г.

По сути это стихотворение о том, что не пишутся стихи. Томас не единственный поэт, у которого возникает такая тематика. Есть подобные стихи у Йейтса (*William Butler Yeats)* [8], у Сильвии Плат (*Sylvia Plath*) [9].

Способность писать стихи – небесный дар, который поэт в свою очередь возвращает небесам.

58. Святой, который, кажется, вот-вот (A saint about to fall)

В письме Джону Давенпорту (*John Davenport*) от 24 августа 1938 г. Томас говорил о своём будущем ребенке как о «нашем святом, или нашем чудовище».

Посылая стихотворение Вернону Уоткинсу 14 октября 1938 г., он написал: «Не забудь, что это стихотворение о ребенке, который вот-вот родится – ты ведь знаешь, что я стану отцом в январе – и я рассказываю ему, в каком мире он будет жить, какой ад, какие ужасы творятся в этом мире».

Опубликовано в «*Poetry*» (Лондон) в феврале 1939 г. под названием «Стихотворение девятого месяца». Название было предложено Уоткинсом.

Оно несомненно написано с естественным для 1938 года предчувствием войны, в нем проявлены связанные с войной страхи.

59. Если боль причинит (If my head hurt a hair's foot)

3 марта 1939 г. Томас написал Уоткинсу о том, что пришла корректура «*Карты любви*», но что он хочет включить туда это только что законченное стихотворение.

Напечатано в «*Poetry*» (Лондон) в апреле 1939 г.

---

[8] Уильям Батлер Йейтс (1865-1939) – ирландский поэт.
[9] Сильвия Плат (1932-1963) – американская поэтесса.

Перед тем, как прочитать эти стихи на BBC, Томас сказал: «Это стихотворение о матери и о ребенке, который вот-вот родится. Это не рассказ, не попытка что-либо доказать, это просто серия противоречивых картин, они движутся через жалость и ярость к принятию страдания и матери, и ребенка. Это стихотворение называли темным. Но я отказываюсь согласиться с тем, что оно темней жалости, ярости или страдания. Просто это стихи, и значит они не длятся всю жизнь, они концентрированней».

Это стихотворение почти на ту же тему, что и предыдущее, только гораздо ясней. Очень существенно, что здесь возникает мать. То есть свойственный Томасу абстрактный разговор о рождении сменяется совершенно конкретным.

60. Двадцать четыре года (Twenty four years)

Это стихотворение под названием «*Стихи на день рожденья*» было опубликовано в «*Life and Letters Today*» в декабре 1938 г. 24 октября 1938 г. Томас послал его Вернону Уоткинсу, написав его на открытке. Фактически он послал Уоткинсу открытку к собственному дню рожденья.

Как лоно наводило Томаса на мысль о могиле, так и собственный день рожденья наводит его на мысль о смерти. Но поэт живет не только, чтобы умереть, а ещё и чтоб через смерть придти к новой жизни.

НА ПОРОГАХ СМЕРТЕЙ (DEATH AND ENDURANCES, 1946)

В этой книге в основном собраны стихи, написанные между 1939 и 1945 годами.

61. Слияние молитв (The conversation of prayers)

Томас послал это стихотворение Вернону Уоткинсу в письме от 28 марта 1945 г. Оно было опубликовано в «*Life and Letters Today*» в июле 1945 г. и в «*New Republic*» 16 июля 1945 г.

Может быть, эти двое, поднимающиеся по лестнице каждый со своей молитвой – это Томас и его сын, или Томас-взрослый и Томас-мальчик...

62. Никогда еще предвечная тьма (A Refusal to mourn the Death, by Fire, of a Child in London)

Это стихотворение Томас послал Вернону Уоткинсу 28 марта 1945 г. Напечатано в «*New Republic*» 14 мая 1945 г. и в «*Horizon*» в октябре 1945 г.

В этом реквиеме для Томаса очень существенно столкновение двух стихий – воды и огня. Критики сильно расходятся во мнениях по поводу этого стихотворения. Некоторые считают его претенциозным и невнятным, другие относят его к лучшим стихам о войне.

63. Стихи в октябре (Poem in October)

Об этом стихотворении Томас объявил Уоткинсу в письме от 26 августа 1944 г. Он назвал его лохарновским стихотворением: «Первое стихотворение в моей жизни, которое я написал об определенном месте». Само стихотворение Томас отправил Уоткинсу 30 августа 1944 г.: «На месяц с половиной раньше, чем нужно; я надеюсь, что оно тебе понравится. Мне бы очень хотелось тебе его вслух прочесть. В нем, мне кажется, есть медленное лирическое движение». Уоткинс в своих записках говорит, что Томас думал об этих стихах 3 года. Томас тогда составлял приблизительный список стихотворений для сборника «*На порогах смертей*», и это стихотворение должно было быть последним в книге. Оно называлось «Стихи на день рожденья». Но если стихотворение действительно было начато в день рожденья и при этом тесно связано с Лохарном, то получается, что Томас начал его в 1939 г., когда с семьей жил в Лохарне.

Напечатано в «*Horizon*» в феврале 1945 г. и в «*Poetry*» (Чикаго) в феврале 1945 г.

Это одно из первых стихотворений, празднично связанных с детством. Кульминация этой темы несомненно «Папоротниковый холм».

64. Правду жизни с иной стороны (This side of the truth)

Послано Вернону Уоткинсу 28 марта 1945 г. Опубликовано в «*New Republic*» 2 июля 1945 г. и в «*Life and Letters Today*» в июле 1945 г.

Обращено к шестилетнему сыну.

Кэйтлин в своей книге «Жизнь с Диланом Томасом» пишет: «Это одно из стихотворений, написанных в Нью-Куэйе. Оно обращено к Ллевелину. Не очень внятные стихи, и когда он их написал, я была несколько удивлена, но мне они понравились. Я думаю, что Дилан был разочарован тем, что Ллевелин не был более естественным ребенком. Он был очень задумчивым, погруженным в себя, чувствительным и уязвимым. Дилан хотел более прямолинейного ребенка, такого, что бьет по мячу... Я не могу вспомнить, что подтолкнуло Дилана к написанию этого стихотворения, хотя мне кажется, что тут некоторое чувство вины сыграло роль, потому что с Ллевелином не слишком хорошо обращались»

65. Не таким, как ты (To others than you)

Послано Уоткинсу в июне 1939 г. Томас говорит: «Вот еще одно маленькое стихотворение. Ничего особенного».

Опубликовано в «*Seven*» осенью 1939 г.

Простое и горькое стихотворение. Ассоциируется с «*Дайте маску – скрыться от соглядатаев*».

66. Любовь в сумасшедшем доме (Love in the Asylum)

19 февраля 1941 г. Томас написал издателю «*Poetry*» Мими Джеймсу Тамбимутту (*Meary James Tambimuttu*): «Я не закончил стихотворения к этому номеру. Можно ли подготовить его к печати к следующему?» *«Любовь в сумасшедшем доме»* явно была отослана в журнал в конце апреля 1941 г. В письме от 21 мая 1941 г. он пишет: «Вы мне ничего не сказали по поводу моего нового стихотворения, которое я отослал в конце прошлого месяца». Стихотворение было напечатано в майском-июньском выпуске «*Poetry*» (Лондон).

Эти стихи – гимн совместной жизни, браку. Слово *Asylum* по-английски – это не только сумасшедший дом, но и убежище.

Женщина-птица – постоянный символический образ всеохватывающей Любви, проходящий сквозь всю поэзию Томаса.

67. Нет, не везет ей, смерти (Unluckily for a death)

Первая редакция этого стихотворения была опубликована под заголовком «*Стихотворение для Кэйтлин*» в «*Life and Letters Today*» в октябре 1939 г.

В мае 1939 г. Томас написал Вернону Уоткинсу, что в этом стихотворении важен только его дух, а детали не имеют ровно никакого значения.

Позже Томас сильно эти стихи переделал и послал новую редакцию в издательство «*Dent's*» 18 сентября 1945 г.

Это стихотворение находится в одном ряду с «*Так вот оно: отсутствие враждебно*», «*Нет, не от гнева*», «*Положив голову*» – все они о трудностях совместной жизни. Томас ценил все эти стихи в общем-то сильней, чем они того заслуживают.

Это стихотворение такое темное по образности и по синтаксису, возможно, еще и потому, что Томас пытается как-то защитить очень личные переживания.

Грехи и дни… – Намек на сочинение Гесиода «Труды и дни».

68. Горбун в парке (The Hunchback In The Park)

Раннее стихотворение из записных книжек, датированное 9 мая 1932 г., было переработано в июле 1941 г. Из 31 строчки верлибра появилось 67 строчек рифмованного стихотворения. Томас в последний раз воспользовался записными книжками перед тем, как их продал.

Это переделанное стихотворение он одновременно послал Чарльзу Фишеру (*Charles Ficher*) и Вернону Уоткинсу 15 июля 1941 г.

Мысли о браке, о совместной жизни у Томаса обычно приводят к невнятности и темноте стиха, а мысли о детстве ведут в стихам светлым, полным сочувствия. В центре этого стихотворения парк в Суонси. Этот полный волшебства парк появляется не только в стихах, но и в прозе Томаса.

69. Положив голову (Into her lying down head)

В марте 1940 г. Томас объявил в письме Уоткинсу, что он начинает важное новое стихотворение, а 5 июня 1940 г. он прислал ему первую редакцию «*Положив голову*».

Томас говорил, что это стихотворение о «современной любви». Он писал о нем: «Во всем мире предают любовь, и миллион лет не угомонили ярость каждого предательства и ужасное после каждого предательства одиночество…»

Томас говорил, что ни над одним стихотворением он не работал упорней.

Так или иначе, все стихи Томаса, посвященные браку, вымощены благими намерениями, но остаются темными.

По сути это стихотворение о том, каково быть «мужем».

70. Бумага и палочки (Paper and sticks)

Впервые опубликовано в «*Seven*» осенью 1939 г. Оно вошло в книгу «*На порогах смертей*», но было в последнюю минуту выкинуто из «Избранных стихов (1934 – 1952)». 10 сентября 1952 г. Томас написал в издательство «*Dent's*», что читая корректуру «*Бумаги и палочек*», он пришел

в ужас: «Оно ужасно. Неужели его никак нельзя выкинуть? Я так бы хотел, чтоб оно не вошло в книгу». Издатели согласились выкинуть эти стихи, но только переставив стихотворение «*Не уходи безропотно во тьму* » со своего места в конце на место этого стихотворения.

71. На порогах смертей (Deaths and Entrances)

Это стихотворение – результат того, что летом 1940 г. Томас попал в Лондоне под бомбежку. Он описал Вернону Уоткинсу ужасы, которые преследовали его после этого. Его не оставляли ночные кошмары. В следующем письме Уоткинсу Томас сообщил, что он написал стихотворение о вражеской высадке, но что оно еще не вполне готово.

В ноябре 1940 г. То-мас принес стихотворение Уоткинсу домой и закончил его тем же вечером. Оно было опубликовано в «*Horizon*» в январе 1941 г.

Название этого стихотворения взято из последней проповеди Джона Донна. Рассуждения Донна о рождении, как о начале пути к смерти, о рождении, как об освобождении от одной смерти (тьмы до рождения) только лишь затем, чтоб начать путь к следующей смерти, были Томасу очень близки.

У Томаса есть несколько стихотворений о войне, несколько фактических реквиемов. И в смерти во время бомбежки он видел еще и уход вверх, к свету и воздуху.

72. Сказка Зимы (A Winter's Tale)

Томас послал это стихотворение Уоткинсу 28 марта 1945 г.

«На самом деле, это стихотворение распадается на части. Я очень старался эти части объединить, я работал над ним месяцами».

В тот же день Томас послал его Оскару Уильямсу (*Oscar Williams*) в Нью-Йорк. «Вот длинное стихотворение. Мне понадобилось много времени, чтоб его написать, оно потребовало больших усилий».

Уильямс отослал его в «*Poetry*» (Чикаго), где оно было опубликовано в июле 1945 г.

Томас ценил рассказы в стихах. При этом у него таких рассказов очень мало. Собственно, кроме «Сказки зимы», только «*Баллада о длинноногой наживке*» несет в себе черты повествовательности.

Томас говорил, что в повествовательных стихах, пока читатель следит за событиями, «сущность стихотворения над ним работает».

73. На годовщину свадьбы (On a Wedding Anniversary)

Первая редакция этого стихотворения была напечатана в «*Poetry*» (Лондон) 15 января 1941 г. Стихотворение было переработано как раз перед тем, как 18 сентября 1945 г. Томас вернул корректуру книги «*На порогах смертей*» в издательство «*Dent's*».

Он пишет: «Стихотворение на 32 странице я изрядно изменил, теперь это 3 четверостишия.»

Однако это стихотворение осталось для Томаса наименее удовлетворительным из всех стихов этой книги. В письме в издательство от 28 сентября 1945 г. Томас отметил, что его можно и совсем выкинуть, если нужно.

Это изящное стройное стихотворение, даже если не вполне ясно, о чем же оно.

74. Был спаситель как радий (There was a saviour)

В письме Уоткинсу от 20 января 1940 г. Томас сказал, что работает над стихотворением и получает от этого такое удовольствие, которого от работы очень давно не испытывал. Стихи, о которых идет речь, вероятно, были посланы Уоткинсу в письме от 3 февраля 1940 г., потому что в письме от 6 марта, он об этих стихах рассуждает.

Чуть позже Томас изрядно переработал это стихотворение. Оно было напечатано в «*Horizon*» в мае 1940 г.

Томас называет это стихотворение «Суровым стихотворением в ритме Мильтона». Это ритмическая пародия на стихотворение Мильтона «Утром в день рождения Христа».

75. На свадьбу Девы (On the Marriage of a Virgin)

Томас переработал стихотворение 16 из записных книжек, датированное 22 марта 1933 г., сделал из 42 строчек 14 и датировал январем 1941 г. Первую половину этого стихотворения Томас послал Уоткинсу на обратной стороне письма от 21 июня 1941 г. «Вот маленькое стихотворение, которое я только что написал. Не слишком оформленное. Просто стихотворение, написанное между кусками моего так трудно идущего романа». Целиком стихотворение было отослано в следующем письме, от 4 июля 1941 г. «Я вкладываю на этот раз уже законченное стихотворение». Оно было опубликовано в «*Life and Letters Today*» в октябре 1941 г.

Ранняя редакция была написана Томасом, когда его сестра Нэнси собиралась выходить замуж.

Стихотворение перекликается с сонетом Йейтса о Леде, и Йейтс определенно мощней.

76. Одиноко мое ремесло (In My Craft or Sullen Art)

Впервые об этом стихотворении Томас упомянул 18 сентября 1945 г., когда он правил корректуру книги «*На порогах смертей*». Он сказал А. Дж. Хоппе (*A.J. Hoppé)* из издательства «*Dent's*»: «Я вычеркнул стихотворение на странице 36 и заменил его другим более коротким – «*Одиноко мое ремесло»* – его я и прикладываю к письму. Стихотворение было опубликовано в «*Life and Letters*» в октябре 1945 г.

Это стихотворение перекликается с «Рыбаком» («The Fisherman») Йейтса.

77. Похоронная церемония после воздушного налёта (Ceremony after a Fire Raid)

Вероятно, написано незадолго до публикации в «*Our Time*» в мае 1944 г. Томас тогда отправил семью в Босхам (*Bosham*) в Сассекс (*Sussex*) из-за того, что Лондон очень сильно бомбили.

«Это и в самом деле церемония» – сказал Томас, для которого ритуалы были всегда очень важны. «*Безвластной смерть остается*» и «*Никогда еще предвечная тьма»* подготавливают читателя к этому триумфу ритуала.

78. Однажды (Once below a time)

Это стихотворение, напечатанное в «*Life and Letters»* в марте 1940 г., изначально должно было войти в книгу «*На порогах смертей*», но в конце концов не вошло, может быть, потому, что Томас намеревался над ним еще работать. Томас послал его Джеймсу Логлину (*James Laughlin*) для публикации в Америке в «*New Poems»*, где и было опубликовано в 1943 г. Оттуда это стихотворение попало в «Избранные сочинения Дилана Томаса» 1946 г. по выбору издателя.

Возможно, что именно под давлением этих американских публикаций Томас включил его в «*Избранное 1934-1952*» и поместил среди стихов из книги «*На порогах смертей*».

Может быть, последние строки этого стихотворения, спокойствие последних образов, как-то связаны с войной. Томас и в самом деле хотел в это время быть невидимым, спрятаться. Он очень боялся призыва.

Вообще же в стихотворении очень чувствуется иронический автопортрет. Собака, конечно, же напоминает о томасовском романе «Портрет художника в щенячестве». И опять возникают ассоциации с Джойсом («Портрет художника в щенячестве» – парафраз джойсовского «Портрета художника в юности»).

Это стихотворение заставляет вспомнить портрет Шема из джойсовских «Поминок по Финнегану».

79. Когда я встал (When I woke)

Это стихотворение не было послано Вернону Уоткинсу, поэтому у нас нет точной датировки. Может быть, это о нем говорит Томас в июле 1939 г. в письме Джону Давенпорту, называя его «симпатичным стихотвореньицем» и обещая отослать его, как только оно будет готово.

На внутренней стороне обложки мартовского номера журнала «*Wales*» от 1938 г., на самом деле вышедшего в июне, Томас записал несколько строчек. В частности, «*When I woke, the dawn spoke*» («Когда я проснулся, рассвет заговорил»).

Томас процитировал эти строки Уоткинсу 1 апреля 1938 г., сказав, что это юношеская фраза и что когда-нибудь он ее использует.

Так или иначе, стихотворение было закончено вовремя для отсылки его в осенний номер «*Seven*» в 1939 г.

Так что как военное стихотворение его рассматривать нельзя, однако же приближение войны в нем явственно чувствуется.

В письме Вернону Уоткинсу от 25 августа 1939 г. Томас говорит: «Эта война, дрожащая даже на кончике Лохарна, наполняет меня ужасом и усталостью».

Через 4 дня он написал отцу: «Это ужасно, когда построив из ничего полное счастье и стиль жизни – без денег, без имущества, без каких-либо надежд на материальное благосостояние, видишь такую непосредственную возможность, что в один момент все это взорвется и исчезнет».

Как и «*Поминки по Финнегану*» Джеймса Джойса (*James Joyce)*[10], это стихотворение о сне и о пробуждении. Томас уходит из сна в реальность.

---

[10] Джеймс Джойс (1882-1941) – ирландский писатель, один из важнейших писателей 20-го века

80. Среди убитых при утреннем налете был человек столетнего возраста (Among Those Killed in the Dawn Raid was a Man Aged a Hundred)

В «*Humanity Research Library*» в Техасе хранится записка Чарльза де Латура (*Charles de Latour*), в которой он рассказывает, как они с Томасом в 1940-1941 годах работали в Брэдфорде над сценарием для «*Strand Films*». Как на глаза им попалась газетная заметка о смерти старика под бомбежкой в Халле.

«Нас обоих поразила эта история о гибели старика, и мы, забыв о сценарии, ее очень оживленно обсуждали. Потом Дилан перевернул сценарий и на обратной стороне страницы записал какие-то слова, перечеркнул, опять что-то написал. Через некоторое время он достал чистый лист бумаги и огрызком карандаша, которым всегда писал, во всяком случае в моем присутствии, записал готовое стихотворение, которое мне тут же отдал».

Оно было напечатано в «*Life and Letters Today*» в августе 1941 г.

Стихотворение легко ложится в ряд с «*Похоронной церемонией после воздушного налета*» и с «*На порогах смертей*».

81. Спи спокойно. Недвижно (Lie still, sleep becalmed)

Редакция этого стихотворения, опубликованная в «*Life and Letters*» в июне 1945 г. и вошедшая без изменений в книгу «*На порогах смертей*» – переработка черновика, посланного Т. У. Йарпу (*T.W. Earp*) из Босхама в Сассексе, куда Томас вывез семью, когда бомбардировки Лондона стали очень страшными, в апреле 1944 г.

82. Видение и молитва (Vision and Prayer)

Стихотворение *«Святой, который, кажется, вот-вот»* было написано незадолго до рождения Ллевелина. Возможно, что «*Видение и молитва»* – написано ко дню рожденья Ллевелина 30 января 1939 г. Это не единственное длинное стихотворение, пролежавшее всю войну без движения и законченное только, когда появилась надежда на мир. В Лондоне 3 марта 1943 г. у Томасов родилась дочка Аеронуи. Но жизнь Дилана в тот момент была чрезвычайно суетна и раздергана, так что он не мог ни написать стихов к рождению дочки, ни закончить стихотворение, посвященное Ллевелину.

В августе 1944 г. Томас объявил стихотворение законченным, но однако после этого продолжал над ним работать и отослал его Вернону Уоткинсу только 28 октября 1944 г.

В этом стихотворении Томасу очень важна зрительная форма.

В периодике оно появилось дважды. В «*Horizon*» в январе 1945 г. и в «*Sewanee Revue*» летом 1945 г.

Томаса вполне устроило то, как оно было графически напечатано в «*Sewanee Revue*», и он предложил в напечатать его так же в книге «*На порогах смертей*». В письме в «*Dent's*» от 6 ноября 1945 г., посланном после правки корректуры, Томас благодарит издательство за соблюдение формы.

Что до тематики, то сначала кажется, что Томас празднует в этих стихах смену религии, но очень быстро делается ясно, что это стихотворение никакого отношения к религии не имеет. Религия тут только метафора. Ощущение священнодействия требует религиозных метафор.

Что же здесь празднуется? Рождение ребенка, или рождение стихотворения? Поводом к этим стихам служит несомненно рождение ребенка, но, как и всегда, любое рождение заставляет Томаса говорить о рождении стихов.

Лазарь **–** См. прим. к № 20**.**

83. Баллада о длинноногой наживке (Ballad of the Long-legged Bait)

«Молодой человек отправляется на рыбалку – собирается поймать сексуальный опыт – а ловит семью, церковь и деревенскую лужайку» – вот что сказал Томас Уильяму Йорку Тиндаллу об этом стихотворении.

Томас несомненно читал в переводе «*Пьяный корабль*» Артюра Рембо, появившийся в «*New Verse*» в июне-июле 1936 г.

Вот что пишет Вернон Уоткинс об этом стихотворении: «Я видел, как оно выросло из 15 строчек до своей полной длины во время, когда Томас жил в Бишопстоне, где он непрерывно над ним работал». Это было между январем и апрелем 1941 г.

Стихотворение должно было появиться в «*Horizon*» в апреле 1941 г., но было напечатано только в июле.

8 января 1941 г. Томас написал Джону Давенпорту: «Сегодня лопнули трубы, и Кэйтлин в мужской шляпе целый день бегает с тряпкой между уборной и затопленной гостиной, а я сижу и пытаюсь написать стихотворение о человеке, который отправился с женщиной на рыбалку и поймал коллекцию ужасов».

А 28 апреля 1941 г. он написал: «Я только что закончил мою балладу. К сожалению, она не успеет в майский номер «*Horizon*». В ней 220 строчек, огромное для меня это было усилие ее написать, и это в самом деле баллада. Я надеюсь, что тебе понравится. Сейчас мне кажется, что это вообще лучшее, что я написал».

Вернон Уоткинс писал в своих заметках о Томасе: «Это стихотворение полно визуальных образов. Оно настолько визуально, что Томас нарисовал цветную картинку и пришпилил ее к стене своей комнаты, – картинку, на которой изображена женщина, лежащая на дне моря. Новая Лорелея, открывающая ужасы разрушения тем, кто ее коснется».

Так или иначе, если в одной фразе попытаться сказать об этом стихотворении, то придется сказать только: ловец пойман.

Счастливый мальчик делается взрослым. И путешествие – наиболее естественная метафора для жизни.

Как всегда у Томаса – в этих стихах высокий уровень автобиографичности – не обобщенный человек, а скорее обобщенный поэт.

И Сусанна утонула в бородах как в пене / И около Вирсавии никто не вспомнит о стариках – Сусанна и старцы, подглядывающие за ней – очень частый библейский мотив в живописи. Вирсавия – последняя любовь царя Давида, мать царя Соломона.

84. Весна священная (Holy Spring)

Посылая это стихотворение Уоткинсу 15 ноября 1944 г., Томас говорит: «Вот стихотворение, которое я начал очень давно, а закончил только что, после того, как изрядно над ним поработал».

По-видимому, эти стихи возникли из стихотворения «*Десять*», датированного 22 февраля 1933 г. Перерабатывать его Томас начал еще до того, как продал в 1941 г. свои записные книжки. Возможно, что Томас периодами работал над ним во время войны.

В окончательной редакции напечатано в «*Horizon*» в январе 1945 г.

Сюжетно это стихотворение о том, как человек (поэт) встает с постели на весеннем рассвете после целой ночи воздушных налетов. Утреннее солнце символизирует здесь свет, жизнь, секс, поэзию, все то, что как весна дает новую жизнь темному мертвому миру.

85. Папоротниковый холм (Fern Hill)

Это последнее стихотворение, написанное до того, как вышел сборник «*На порогах смертей*». Оно было прибавлено к книге, когда корректура уже была готова. Томас написал в «*Dent's*» 18 сентября 1945 г.:

«Я прикладываю к письму еще одно стихотворение. Это «Папоротниковый холм», пока что не включенный в книгу. Я очень хочу, чтобы он вошел в нее, потому что в этих стихах – важнейшая часть чувства и смысла этой книги, как единого целого».

«Dent's» сумел включить «Папоротниковый холм» в сборник «*На порогах смертей*».

А впервые он был опубликован в «*Horizon*» в октябре 1945 г. (книга «*На порогах смертей*» вышла в феврале 1946 г.)

Папоротниковый холм – это название фермы. Там же происходит действие рассказа «Персики». Вообще всюду, где у Томаса появляется настоящая ферма, это Папоротниковый холм – ферма, на которой когда-то жили его тетка Анн Джонс (*Ann Jones*) и ее муж. Именно ей посвящено стихотворение «*После похорон*».

В детстве Томас провел на этой ферме очень много времени. С ней связаны его самые теплые и волшебные детские воспоминания.

31 марта 1946 г. Томас написал Эдит Ситвел (*Edith Sitwell*), что «*Папоротниковый холм*» был закончен в сентябре 1945 г., когда Томас жил неподалеку от фермы. Речь наверняка идет о коттедже в Блаен Ллангэйн (*Blaen Cwm. Llangain*), которым и до сих пор владеет семья Томасов, и в котором поселились родители Дилана, когда отец его вышел на пенсию, и они уехали из Суонси. Томас часто и подолгу гостил там летом 1945 г.

Однажды Томас сказал об этих стихах: «Это стихотворение для вечеров и слез».

86. В деревенском сне (In Country Sleep)

24 апреля 1947 г. Томас написал из Рапалло своему агенту Дэвиду Хайаму (David Higham), что он работает над длинным стихотворением.

Это было первое стихотворение после выхода за год до того книги «На порогах смертей». 24 мая 1947 г. он написал из Флоренции: «Длинное стихотворение медленно продвигается». К 20 июня 1947 г. он написал сотню строчек. А 11 июля заявил, что оно почти закончено. Томасу стихотворение нравилось.

В опубликованной редакции оно состоит из двух частей, но Томас рассматривал возможность написания третьей. Напечатано это стихотворение в «*Atlantic*» в декабре 1947 г. и в «*Horizon*» в том же месяце.

В этом стихотворении поэт кого-то одновременно и утешает, и предостерегает. Этот неизвестный вор воспринимается как Смерть или как Время. И стихотворение кажется адресованным ребенку.

Однако одной восхищавшейся этим стихотворением поклоннице Томас сказал, что Вор – это ревность, и что стихотворение обращено к жене. В Америке он сказал интервьюировавшему его журналисту, что Вор – это на сегодняшний день алкоголь, но завтра это может быть что-нибудь еще, слава, например, или успех. Мысль о том, что доверию что-то может угрожать, проходит через все стихотворение.

У великой птицы-Рух … – Рух – гигантская птица из сказок «1001 ночи».

87. Над холмом сэра Джона (Over St. John's hill)

Это стихотворение написано в первые недели жизни Томасов в доме-корабле в Лохарне. Этот дом специально для Томаса купила Маргарет Тэйлор, она сдавала ему его за весьма условную плату. 11 мая 1949 г. Томас написал ей о Лохарне: «Это место я люблю, я хочу здесь жить, могу здесь работать, я уже начал работу». 5 августа 1949 г. он пишет, что опять начинает много работать. На следующий день, 6 августа, он отослал стихотворение в «*Botteghe Oscure*»: «Это стихотворение, которое я вам посылаю, я закончил только на этой неделе».

Опубликовано оно было в «*Botteghe Oscure*» ещё до конца года. А осенью 1950 г. стихотворение было опубликовано в «*Hudson Revue*» и потом 24 августа 1951 г. в «*Times Literary Supplement*».

Холм сэра Джона – так называется длинный мыс, именно его видел Томас из окна дома-корабля.

89. Стихи на его день рожденья (Poem On His Birthday)

Это четвертое и последнее из стихов, написанных к собственному дню рожденья. Из стихотворения очевидно, что оно было начато в октябре 1949 г., когда Томасу исполнилось 35 лет. В Гарварде хранится страничка, озаглавленная «Стихи в октябре (1950 г.)», из чего следует, что Томас в 1950 г. продолжал думать об этом стихотворении. Закончено оно было в 1951 г.

В письме герцогине Маргерит Каэтани (*Marguerite Caetani*), богатой американке, издававшей в Риме литературный журнал «*Botteghe Oscure*», от

18 июля 1951 г. Томас пишет: «Я надеялся закончить довольно длинное (около 100 строчек) стихотворение на день рожденья, но я до сих пор его пишу. Я хотел Вам его послать… Оно нравится мне больше, чем что бы то ни было написанное за очень долгое время».

31 августа 1951 г. он рассказал герцогине грустную историю: «Я взял новое стихотворение – первое из трех стихов, связанных друг с другом темой дня рожденья – с собой в Лондон в мою последнюю поездку, из которой я только что вернулся. Я хотел напечатать его в Лондоне и сразу же Вам отослать. Однако все мои планы пошли насмарку. Я надеялся найти работу на зиму, потому что мы зимой намереваемся перебраться отсюда в Лондон, но в результате мне пришлось уехать домой без всяких надежд. Только у меня не было денег на обратную дорогу, и я был вынужден продать стихотворение лондонскому журналу за 10 фунтов».

Таким образом эти стихи были напечатаны в «*World Review*» в октябре 1951 г. Они там короче на 3 строфы, чем редакция, опубликованная в «*Atlantic*» в марте 1952 г.

Это стихотворение – смесь праздничности и горя. Поэт, как и все живое, как и рыбы в море под его окном, и птицы в кронах деревьев вокруг него, движется к смерти и при этом поет. Мир прекрасен, и поэт – его часть, и стихотворение, начавшееся с ощущения одиночества, заканчивается единением со всем живым, поэт – капитан этого сумасшедшего пьяного корабля, идущего к смерти.

90. Не уходи безропотно во тьму (Do not go gentle into that good night)

По форме это стихотворение представляет собой «вилланеллу» – одну из самых сложных поэтических форм, известную еще с времен Ренессанса.

28 марта 1945 г. Томас написал Вернону Уоткинсу: «Мой отец ужасающе болен в эти дни, у него сердечная болезнь и страшные боли, и мир, который был когда-то для него цвета дегтя, сейчас еще темней».

Возможно, что это стихотворение зародилось еще в 1945 г. Оно не из быстро написанных стихов. Томас не рассказывал о нем в письмах, а когда посылал его в «*Botteghe Oscure*» 28 марта 1951 г., только написал: «Я закончил короткое стихотворение, которое и посылаю».

Потом добавил в постскриптуме: «Единственный человек, которому я не могу его показать, – это отец, не знающий, что он умирает».

Стихотворение было напечатано в «*Botteghe Oscure*» в ноябре 1951 г.

Перед тем, как прочитать это стихотворение в университете Юты, Томас много говорил о своем отце.

О том, что отец его был воинствующим атеистом – причем вопрос был для него не в том, есть ли Бог, а в том, что он этого Бога яростно и очень лично ненавидел. Он мог посмотреть в окно, увидеть, что идет дождь и сказать, «опять дождь, будь этот Бог проклят». К концу жизни отец ослеп, он очень тяжело болел, и характер отца смягчился. А Томасу вовсе не хотелось, чтоб отец менялся, становился мягче, ему казалось, что отец должен оставаться прежним.

91. Ламентации (Lament)

Послано в «*Botteghe Oscure*» 17 мая 1951 г. и напечатано там еще до конца года. Каэтани убрала из него 4 строфу, Томас не возражал, однако в «*Partisan Review*» в январе-феврале 1952 г. эта строфа опять появилась.

Ироническое грубоватое стихотворение, написанное очень живым ритмом. В нем есть бравада и веселье.

92. На белой гигантской ляжке (In the White Giant's Thigh)

Это стихотворение было наполовину закончено в октябре 1949 г. В письме к Хелен и Биллу МакАльпайнам (*Helen, Bill McAlpine*) от 12 ноября 1949 г. Томас говорит: «Я закончил стихотворение в 100 строчек, однако возможно ему потребуется еще и вторая часть». На самом деле, Томас не удлинил стихотворение, а укоротил. 28 ноября он писал: «Осталось 80 строчек». А когда поздним летом 1950 г. он послал его в «*Botteghe Oscure*», в стихотворении осталось 60 строчек.

Эта элегия о женщинах – гимн прекрасному миру и любви. Холм с первобытным рисунком выдуман Томасом. Этот рисунок, который Томас вообразил, способствует любому плодородию, и жившие когда-то девочки и мальчики, оживающие в любви, – герои этого стихотворения. И конечно же, присутствует в нем и умирающий поэт, прославляющий жизнь в смерти, не дающей смерти победить.

«В ДЕРЕВЕНСКОМ НЕБЕ» и «ЭЛЕГИЯ»

93. В деревенском небе (In Country Heaven)

Томас хотел включить стихотворение с таким названием в какой-нибудь следующий сборник стихов. В Техасе хранится записная книжка, датированная октябрем 1951 г., и в ней перечень заглавий будущих стихов. Первое стихотворение озаглавлено «*Однажды*», оно вошло в сборник «*Избранные стихи*». За ним идет «*В деревенском небе*». Остальные 4 стихотворения из списка явно не были вообще написаны.

От стихотворения «*В деревенском небе*» остался черновик из 43 строчек и переписанный отрывок из 16 строк.

Это стихотворение написано с ощущением разрушения и конца света. Возможно, оно было задумано в 1945 г., после падения атомной бомбы на Хиросиму. Однако не осталось никаких указаний на то, что Томас тогда над ним работал.

Скорее всего, Томас хотел написать по-настоящему длинное стихотворение. Пожалуй, даже эпическое. Вероятно, в этом стихотворении действие должно происходить на небесах, где небесные люди рассказывают истории о Земле, погруженной в темноту, которая возникла после того, как Земля саморазрушилась.

94. Элегия (Elegy)

Это простое и трогательное стихотворение осталось незаконченным...

Вернон Уоткинс поместил его в дополнения к «Избранным стихам» в издании 1956 г.

Сохранились томасовские прозаические заметки к этому недописанному стихотворению.

«1. Хотя он был слишком гордым для того, чтоб умереть, он ослеп самым ужасным образом, но не отшатнулся от смерти и был отважен в своей гордости.
2. В своей невинности он думал, что ненавидит Бога, но он так и не узнал, кто он такой: старый добрый человек в своей сжигающей гордости.
3. Теперь он не отойдет от меня, хоть он и мертв.
4. Его мать сказала, что ребенком он никогда не плакал, но и стариком он не плакал, он плакал только, обращаясь к своей тайной ране и к своей слепоте, но никогда вслух».

Видимо, Томас намеревался как-то выстроить все эти мысли и образы.

Настрой этого недописанного стихотворения явно противоположен настрою *«Не уходи безропотно во тьму»*.

Список использованной литературы

1. Dylan Thomas: Collected Poems 1934 — 1953, London: Phoenix, 2003
2. Dylan Thomas: Collected Letters, MacMillan Publishing Company, 1986.

3. William York Tindall: Reader's Guide to Dylan Thomas, Syracuse University Press, 1996.
4. Caitlin Thomas: Double Drink Story: My Life with Dylan Thomas, Virago Press Ltd, 1998.
5. Paul Ferris: Dylan Thomas: The Biographie, Counterpoint, 2000.
6. Jonathan Fryer: Dylan: The Nine Lives of Dylan Thomas, London: Kyle Cathie Ltd., 1993.

ΔΔΔ

ОГЛАВЛЕНИЕ

КАРТА ЛЮБВИ (1939)

НА ПОРОГАХ СМЕРТЕЙ (1946)

В ДЕРЕВЕНСКОМ СНЕ (1952)

В ДЕРЕВЕНСКОМ НЕБЕ и ЭЛЕГИЯ (1953)

Книги издательства Salamandra P.V.V.



Джозайя Флинт. Хобо в России. 108 с., илл.

Воспоминания американского писателя-бродяги Джозайи Флинта о путешествиях в Россию, Льве Толстом и жизни в Ясной Поляне, странствиях с русскими бродягами, столичной полиции и генерале Куропаткине. Первый перевод на русский язык.

А. Я. Гуревич. Москва в начале XX века: Заметки современника. 212 с., илл.

Написанные на склоне лет воспоминания А. Я. Гуревича, участника советской космической программы, живо рисуют облик навсегда ушедшей Москвы. Память автора сохранила драгоценные детали и приметы быта Москвы начала XX века.

Борис Херсонский. Новый Естествослов. 154 с., илл.

Новая книга известного поэта, автора более десяти поэтических сборников, содержит вариации на тему Естествослова-Бестиария и представляет собою поэтические переложения средневековых текстов.

Роман Шмараков. Под буковым кровом. 208 с., илл.

В этой книге доктор филологических наук и прекрасный переводчик античной поэзии Роман Шмараков представляет свои прозаические опыты – семь изысканных и стилистически безупречных новелл, действие которых переносит читателя из древней Греции в Германию XVIII века, Италию времен Ренессанса и Россию «дворянских гнезд» века девятнадцатого.

Дилан Томас. Собрание стихотворений 1934-1953. 258 с., илл.

Первый полный перевод на русский язык канонического собрания стихотворений одного из величайших английских поэтов XX в. Дилана Томаса, отобранного самим Томасом в качестве поэтического наследия. Переводы известного поэта и переводчика Василия Бетаки снабжены подробными комментариями и статьей о жизни и творчестве Томаса.

Книги серии «Gemma magica. Материалы и исследования по истории магии и оккультизма»:

Райские цветы, помещенные в седми цветниках. 80 с. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. I).

Первая книга серии «Gemma Magica. Материалы и исследования по истории магии и оккультизма» знакомит читателя с редкостным масонским изданием – переводом мистического шедевра XVII в. «Херувимский странник».

История доктора Джона Фаустуса. 40 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. II).

Впервые на русском языке – перевод народной книжки о знаменитом чародее и некроманте докторе Джоне Фаустусе, изданной в Англии в 1787 году.

Крата Репоа. 100 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. III).

Первое за почти 100 лет полное переиздание знаменитого трактата «Крата Репоа» - таинственной книги, которая оказала глубокое влияние на судьбы европейского и русского масонства XVIII-XIX веков и стала «фундаментальным документом» европейской эзотерики в целом.

М. И. Попов. Описание древняго славенскаго языческаго баснословия, собраннаго из разных писателей, и снабденнаго примечаниями. 80 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. IV).

«Описание древняго славенскаго языческаго баснословия» (1768) одаренного писателя, поэта и переводчика М. И. Попова стало одним из первых сочинений, ре/конструировавших мифологический пантеон, демонологию и народную магию древних славян. С XVIII в. этот важный источник оставался труднодоступен для широкого читателя.

Артур Конан Дойль. Пришествие фей. 241 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. V).

Словно великий сыщик Шерлок Холмс, сэр Артур Конан Дойль, блестящий писатель и убежденный спиритуалист, расследует в этой книге историю с фотографиями фей, сделанными в первые десятилетия XX в. двумя девочками из глухой английской деревушки. Первый полный и откомментированный перевод на русский язык.

Книги серии «Библиотека авангарда»:

Владимир Гольцшмидт. Послания Владимира жизни с пути к истине. 85 с., илл. (Библиотека авангарда: Вып. I).

Первое современное издание произведений «футуриста жизни» Владимира Гольцшмидта (1891? – 1957), поэта, агитатора, культуриста и одного из зачинателей жанра артистического перформанса.
Основатель московского «Кафе поэтов» и создатель памятника самому себе, авантюрист и йог, ломавший о собственную голову доски во время выступлений, Гольцшмидт остался легендарной фигурой в истории русского футуризма.

Филиппо Томмазо Маринетти. Битва у Триполи (26 октября 1911 г.), пережитая и воспетая Ф. Т. Маринетти. 97 с., карта, илл. (Библиотека авангарда: Вып. II).

Основатель итальянского футуризма, неистовый урбанист и певец авиации и машин Филиппо Томмазо Маринетти – на фронте итало-турецкой войны. Книга поэтической прозы «Битва у Триполи» в полной мере отразила как литературное дарование, так и милитаристский пафос итальянского футуриста. Переведенная на русский язык эгофутуристом и будущим лидером имажинизма В. Шершеневичем, «Битва у Триполи» не переиздавалась с 1915 г. и давно является библиографической редкостью.